

СИБИРИАДА

АЛЕКСАНДР
ПЕШКОВ



ТАЕЖНАЯ
ВЕЧЕРНЯ

Сибиряда

Александр Пешков

Таежная вечерня (сборник)

«ВЕЧЕ»

Пешков А. В.

Таежная вечерня (сборник) / А. В. Пешков — «ВЕЧЕ»,
— (Сибириада)

ISBN 978-5-4444-8635-1

Повесть «Таежная вечерня» написана на основе реальных событий. Бывший детдомовец однажды в тайге увидел гибель двух медвежат от рук браконьеров, похоронил зверят, построил часовню на их могиле и остался жить рядом. Это повесть о сложных отношениях главного героя с полуприрученной медведицей, с пришедшими из монастыря священниками для освящения часовни, с туристами и праздными людьми, с девушкой Катей, искавшей в нем защиту. Повесть «Первое имя» – о неожиданном повороте в любовной истории двадцатилетнего парня, приехавшего в деревню работать в доме-музее поэта Серебряного века, жившего здесь в ссылке. Главный герой находит дневники ссыльного поэта, он пытается понять его судьбу и сравнивает чувства, описанные много лет назад в дневнике, со своей влюбленностью. Шесть рассказов посвящены природе и людям Сибири. Их герои – охотники и рыбаки, художники и бродяги – люди, попавшие в сложные жизненные ситуации. Знак информационной продукции 12+

ISBN 978-5-4444-8635-1

© Пешков А. В.

© ВЕЧЕ

Содержание

Таежная вечерня	6
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Александр Пешков

Таежная вечерня (сборник)

© Пешков А. В., 2016

© ООО «Издательство «Вече», 2016

Таежная вечерня

1

В тайге опадала листва, задумчиво выбирая себе пристанище на пнях и корягах, на рыхлом мху и в сырых дуплах. Желтым смятым полотном она раскатывалась по заросшим тропам, будто прокладывая их заново.

По дороге шли трое: проводник и два священника в бурых от пыли подрясниках. Перед подъемом на перевал молодой священник оглянулся против солнца – дальняя гряда казалась полупрозрачной, будто отлитой из красного мутного стекла, с белым рисунком из слоистого тумана.

Проводник был высокого роста, в черных ботинках, похожих на кувалды. Он остановился, чтобы его спутники перевели дух:

– Про Соловья всякое рассказывают...

На горном склоне тени деревьев светлели и становились похожими на серые дымы.

– Чем он живет? – спросил старший священник в выцветшей скуфейке, у него были густые волосы с сединой и толстые очки в черной оправе.

– Лыжи режет из березы и топорщица. Он не охотник и не рыбак!

– Не убивает живое, – уточнил молодой, с рыжим хвостиком на затылке. – Великий соблазн в тайге!

На румянном лице его у глаз лучились тонкие морщинки, которые нельзя было назвать ранними, скорее – какими-то благостными.

Охотник горестно кивнул, будто ему напомнили о чем-то таком, что заставляло его стыдиться:

– А так внешне – бродяга или бомж!

– Обманчиво первое мнение, – остерег седоволосый батюшка.

Стыдливость исчезла, когда охотник увидел рябчика и громко свистнул. Пернатый комок шарахнулся в густые ветви, тяжело хлопая крыльями. Будто рябчик зажмурился со страху в ожидании выстрела.

– А вы к нему зачем? Исповедовать, что ли?

– На освящение.

Священники приехали из монастыря, что располагался в соседней с Алтаем шахтерской области.

– У вас, говорят, и Катюха его живет? – спросил охотник, и голос его дрогнул.

– К нам многие приходят, – ответил молодой священник.

– Она раньше у Соловья жила. А потом сбежала! – Помолчав, он добавил рассудительно: – Чего с него взять? Святости-то ей точно не надо было!..

– А вы и ее хорошо знаете? – старший священник посмотрел на него сурово.

Охотник почувствовал перемену в голосе и стал оправдываться, полагая, что священникам не знакома обычная сельская жизнь:

– В поселке работы нет. Самые обеспеченные люди – пенсионеры. У Соловья тоже пенсия, как бывший детдомовец. Вот и крутятся возле них девицы, такие как она!

Долгая дорога позволила ему некоторую вольность. А может, думал, священники обратят свои помыслы и на его грешную душу:

– Ходят слухи, что Соловей опаивает мухоморами тех, кто к нему приходит!

Батюшки шли быстро, словно торопясь освятить то место, на которое нацелились противные Богу силы.

Временами охотник забежал вперед, резко останавливался, поправляя рюкзачок на плече:

– Студенты давеча рассказывали, что после бани хотели связать его теми веревками, что на его деревянном Христе!

На северных склонах еще таился туман под нижними ветвями пихт, разжижая их полумрак, а с южной стороны он легко поднимался вверх розовыми клубами. Чем ближе подходили путники к перевалу, тем ярче становилась синева неба.

Словоохотливый проводник рассказал, что сам он живет в поселке недавно и что из местных к Соловью идти никто не захочет, потому как не любят его:

– Он покойников хоронит!.. Здесь была деревня Тогуленок, так Саня на заброшенном кладбище могилы поправляет.

– Благое дело, – отозвался старший священник с одышкой. Было ему лет к пятидесяти, лицо умное и деятельное.

– Так он их видит и разговаривает с ними! – Охотник опять забежал вперед, чтобы заметили оторопь в его моргающих глазах.

– Сколько знаю его, все удивляюсь: с бродягой может говорить на одном языке, с преподавателем из университета – на другом! И с вами – найдется, по вашему ранжиру!..

Надломленная осина, зависшая над тропой, заставила людей согнуться, будто приняла от них земной поклон.

2

Первое, что увидели священники, спустившись по тропе на большую поляну, – узкую маковку, похожую на забинтованную голову.

Остановились, перекрестились:

– Спаси, Господи!

– Огородик есть! – отметил молодой батюшка.

– Вот его самострой, – проводник остановился позади. – Не похоже ведь на доброго-то хозяина!

И действительно, домик оказался маленький и неказистый, прилепленный к краю склона. Все постройки сделаны на скорую руку, без особой любви, и даже расположены как-то боком, будто нарочно отстранялись друг от друга.

Охотник крикнул издали, предупреждая и еще, как отметили священники, будто желая позабавиться:

– Соловей! Выходи!..

На пороге домика появился хозяин.

Ветерок распушил воробьиные вихры на его голове. Весь облик этого человека показывал, что взять с него нечего, а ему самому ничего от пришедших не нужно.

– Здравствуйте, – сказал неожиданно ласково. И охотнику кивнул: – Здорово, Михей!

– Вот, церковные люди, монастырь строят, – сурово буркнул Михей. – Я им про тебя рассказал!

Хозяин часовни еще больше обрадовался. От старшего священника не ускользнуло то, каким взглядом бывший детдомовец оглядел их котомки.

– Спаси, Господи!

Батюшки вновь перекрестились, глядя на распятие около часовни.

Соловей привык к тому, что пришедшие люди не сразу решаются оценить сделанное им.

На огромном деревянном кресте висел распятый, вырезанный из березы в человеческий рост. С шапкой черных волос, с красными губами и угольными глазами, смотрящими как-то

диковато. На худых бедрах – резная юбочка черного цвета. Огромные ржавые гвозди вбиты в узкие ладони. Толстая веревка завязана на ногах и руках. Крашеное желтое тело болезненно выделялось даже на фоне осенней листвы.

– Христос получился у вас своеобразный, – признал старший священник.

Звали его отец Антоний.

В деревянной груди распятого – глубокая волокнистая трещина, и казалось, что она дышала через эту рану.

– Не такой? – наивно спросил Соловей.

– Безбородый, – улыбнулся молодой, отец Кирилл.

– На Майкла Джексона похож! – подсказал Михей, бросив свой потрепанный рюкзачок на лавку.

Отец Антоний нахмурил властные брови. На кресте прибит был гвоздями какой-то блудливый дух.

Эта поспешность и резкость первого впечатления немного смутила священника:

– Один живете?

– Все лето со мной парень жил, детдомовец.

– А семьи нет?

– Была в городе...

Михей развел руками:

– Медведица у него семья!

Молодой священник снял котомку:

– Где можно вещи положить?

– Да проходите в дом, – засуетился Соловей. – Или под навес, если хотите на воздухе. Чаю попейте, отдохните!

– Отдохнуть можно, – охотно согласились батюшки, будто это единственное чувство, в котором они сошлись с таежным чудаком.

– Далеко к вам идти. Но вот пришли, с Божьего дозволения...

Соловью понравилась мысль, что он не сам по себе, но под Божьим присмотром.

– Места у вас благодатные! – молодой священник сощурился, оглядывая лесистые вершины, и тонкие морщинки вновь появились в уголках его глаз.

– Сюда иностранцев можно возить, – поддакнул проводник. – На охоту. И богадельню эту включить в маршрут!

Гости уселись под навес за широкий стол, доски которого были исцарапаны крупными бороздами.

– Медведица его постаралась, – показал охотник на следы когтей. – Путьцы жалуются! Подходит к избушкам, пугает...

Соловей рассеянно улыбался.

Вблизи его одутловатое лицо выглядело по-детски наивным, с изменчивой моложавостью, какая бывает при беззлобности души, но исчезает от слабости характера.

– Почему вы в тайгу ушли? – спросил отец Кирилл, светясь молодым взглядом и заранее одобряя любой ответ.

– В городе люди тесно живут. Как деревья в лесу, солнца нижним не хватает.

– Бог всем одинаково светит своей благодатью! – произнес отец Антоний.

– Не знаю, как одинаково, – Соловей присел на край скамьи, – но вовремя, это точно! Вот мне однажды семафор четыре часа светил красным светом, как раз в этих местах, перед тоннелем. Я тогда помощником машиниста работал. Вылез из кабины – тишина кругом! Так по сердцу, будто родной дом нашел!.. После этого и решил здесь поселиться.

– Сейчас туристы много изб ставят в тайге! – сказал Михей. – А в поселке, наоборот, люди дома бросают и уезжают, – работы нет!..

Седовласый батюшка наклонил голову, потирая крупный лоб ладонью, такие сильные мягкие ладони бывают еще у хирургов:

– Во все времена уходили. И к ним приходили!

– Преподобного Сергия пример, – подсказал молодой. – Не сказки же это, про медведя!

– А я в тайге живу, как в своей семье, – улыбался Соловей серо-голубыми глазами, – молодую пихточку встречу, и как сестра она мне, а на высокий кедр смотрю, как на дедушку, которого слушаться нужно...

– Тяжело, должно быть, одному столько лесу свалить? – лучики молодых глаз изобразили сочувствие.

Соловей ответил батюшке с готовностью и возникшим вдруг благостным рвением:

– Я ведь как притащил первую пару бревен на часовню, так и говорю себе, мол, сколько же еще-то придется мучиться?.. И вдруг такой ветер подул... сильный! Ураган! Деревья с корнем валяло! А мою палатку даже не колыхнуло!..

Словно подтверждая его слова, ветви ближней пихты приподняло ветром. Но этот порыв был таким ласковым и заботливым, что гости с удовольствием подставляли ему разгоряченные лица.

Михей попробовал чай:

– Ничего не добавил?.. Не верю я Соловью!

– Каждый идет к вере своим путем, – молодой батюшка посмотрел на кривую маковку с крестом.

Этот взгляд не ускользнул от охотника:

– Но вы-то признали его часовню?..

Отец Антоний перекрестился на забинтованную главку, будто показывая, что место еще долго намаливать придется.

На смуглом носу охотника выступила испарина:

– Звериная эта часовня!.. Я когда подхожу, ружье поневоле снимаю!

– А чего ее бояться? – Соловей даже приподнялся, будто хотел закрыть собой часовенку.

– Я не про медведицу. Пусть путейцы от нее шарахаются!.. Место у тебя тут нехорошее!

По настроению Михея было видно, что он чувствует неприязнь к здешнему хозяину: не так живет, не так говорит и вообще все в нем – не так! Кому-то достаточно было расстаться с таким человеком, но охотнику, наоборот, зачем-то нужны были слухи о пьянстве Соловья, мухоморных оргиях и прочие небылицы.

– Разлом здесь какой-то! – постучал Михей пальцами по столу. – Нехорошее место!

Священники невольно оглянулись.

Листья кружили в густой тайге, скользили по черноволосой голове распятого и падали ему под ноги. Один листок зацепился хвостиком за ржавый гвоздь в деревянной ладони.

Соловей исподволь следил за гостями:

– Я, прежде чем здесь поселиться, – начал он мягким тоном, каким обычно успокаивают взволнованных людей, – ходил в округе по вымирающим деревням. Вот из одного дома выдернул два старых гвоздя.

– Живет еще кто-нибудь поблизости?

– Туристические избы да зарастающие дороги.

У Соловья была странная манера выражаться: то он старался быть понятным, то, наоборот, говорил туманно, с какой-то пророческой нервозностью, будто вдогонку ускользающей мысли:

– А умирающая дорога страшнее, чем брошенная деревня. Идешь, бывало, по ней и думаешь: может, она единственная, которая приведет... Вон там, за Иродовым логом, – Саня указал рукой вглубь распадка, – Крестовая дорога проходила, еще со времен Екатерины. По ней

золото возили и, как водится, – грабили там же! Поэтому и дорогу так называли, что вся в крестах была!

Соловей подливал гостям чай, выказывая расторопность, но при этом в его коренастой фигуре чувствовалась какая-то звериная лень:

– Кто, спрашиваете, поблизости живет?.. Так вот, верстах в пятидесяти Вадим-кожемяка живет. Крепкий мужик – коней табун, коровы, трактор есть, пруд сам выкопал! И три дома еще содержит: подправляет, чтобы деревней смотрелись! На праздники печки в них топят и лампы за окнами ставит. А сам сидит с женой и обсуждает: мол, у соседей пекут что-то такое, по дыму чую!..

– Сколько ему лет? – спросил отец Антоний.

Так спрашивают о возрасте человека, перешагнувшего определенный рубеж, намеченный для какого-то дела: посадить сад, воспитать детей.

– Да годам к семидесяти. Младший сын еще с ним живет... Меня уговаривал: коня дам и корову, лишь бы сосед появился!

– Что ж вы не остались?

Таежный мужичок улыбнулся ласково:

– Здесь душа прирослась...

3

Подкрепившись, священники сказали, что можно приступать к обряду. Но Соловей сделал вид, что не понял, о чем идет речь:

– На ночь разве останетесь? Я пойду баньку истоплю!.. У меня хорошая баня, все говорят: легко дышится!..

– Нет, нам обратно сегодня идти, – твердо ответил старший священник.

– Ну, делайте, как хотите, – согласился Саня.

Глядя, как вынимают из котомок иконы и кресты, сказал под руку:

– А у меня каждое утро тоже свой обряд: сушину притащить на дрова. Зима долгая! Да и туристы приходят, норовят на готовое...

Священники чуть запнулись при слове «тоже», но подошли к часовне.

– Сами писали? – указал отец Антоний на икону, висевшую над маленькой низкой дверью. («Верблюжье ушко», – мелькнуло в голове.)

Какая-то Лесная Дева в бабьем клетчатом платке по самые брови, на руках – маленький голубой медвежонок.

– Сам! – с готовностью подтвердил Соловей.

– Манера у вас странная, видимо таежная.

– Угадали, батюшка. Часовенку я как раз поставил на могилке двух медвежат. Убили злые люди, заманили на березу, а потом – как в тире: шмяк, шмяк!..

– Молиться и за них надо! – сказал молодой священник чуть дрожащим голосом.

– За охотников или за жертвы?

– За души человеческие. Чтобы они однажды пришли и покаяться в этой часовне!

Саня улыбался, представив, как медведица выслеживает убийц своих детей:

– Сомневаюсь!

Он посмотрел на Михея, и тот нервно заерзал на лавке.

– И на вас сойдет Божья благодать, – перекрестился отец Антоний.

Хотя уже понял, какой труд совершил таежный отшельник. Мало кому под силу.

– Я всю жизнь ее жду! – Соловей заслонил вход в часовню. – Утром встану и первым делом гляну на тропу – жду! Душу родную жду! А вечером, особенно на закате, так хочется закричать, завывать, что не дождался никого!.. Вот и Васю ждал!

Услышав свое имя, Михай грустно развел руками: мол, видите, каков он!

– Молиться нужно!

– Знаю. Лучшие помыслы свои нести, как в кубышку складывать!..

Он будто нарочно мешал священникам приступить к обряду.

Батюшки поднялись на крыльцо часовни, перекрестились, опустив взгляд:

– Непокойная душа ближе к Богу... Можно войти?

Соловей пожал плечами: зачем спрашивать? Будто это убогая часовенка – его личное дело или личные покои его души.

– Все входят, кто захочет...

Внутри часовня напоминала сруб колодца, где с трудом могли развернуться три человека. Бревна обмазаны белой глиной с илом, а крохотное оконце лишь немного рассеивало полумрак.

На стене висели розовое распятие, вырезанное из куска пластмассы, жестяная лампадка с красной лампочкой, горящей от аккумулятора, как светлячок.

На столике, застланном чистой клеенкой, рядом с восковыми свечами лежала раскрытая Библия.

Установив принесенную икону, батюшки читали на два голоса молитву. Густой наставительный баритон: «А еще молимся...» пересекался с поспешным звонким тенорком: «Господи, помилуй! Господи, помилуй...»

Соловей стоял у открытой двери и вслушивался в голос молодого священника.

Когда они вышли, неожиданно спросил:

– А вы, батюшка, тоже без отца росли?

– Почему? – удивился он, но быстро нашелся. – Или вы про Отца Небесного вопрошаете?

– Эха у вас в голосе нет, – пояснил Саня. – Отцовский мальчик, тот с детства нужный тембр усвоит!.. А вы поете так, будто приманиваете!

Юный батюшка только улыбнулся.

– Часовня моя – тоже приманка! – признался Соловей, чтобы смягчить свою вольность. – Может, всплывет что-то из породы моей. Может, приоткроется и мне тайна отцовства!

Глядя на березовый крест, похожий на межевой столб, батюшки опять крестили себя. При этом отца Антония не покидало чувство, что он подходит к распятию, как живая дичь к искусной приманке. Христос у таежного мужика не похож на канон скорби, он смотрел с креста, как связанный зверь. Какая-то дикая воля вдохнула жизнь в деревянного безбородого мужчину без венка на голове. Кто он? И почему здесь висит?

– Я когда распятие резал, – объяснял Саня, – то будто распеленал его из бревна и на коленях понянчил! Голова, пальчики, все вначале несмысленное было...

Заметив, что гости собираются в обратную дорогу, он посочувствовал:

– Дорога дальняя!.. Сейчас будет в гору, – и вдруг выдал в форме вопроса: – А религия – это ведь упразднение дорог?

Батюшки насторожились, а Саня продолжил быстро:

– Сколько ни броди по тайге или у вас в городе, где своя служба, свой чин... батюшки-то, поди, лишнего не ходят? Только по канону?.. А все едино придем!

Казалось, он хотел сказать: полюбите меня странным и непонятным, а хорошим я и сам стану!

Охотник щерил в улыбке крупные зубы – он предупреждал! Чего они хотели, прийти и подивиться: в какую глушь упало зерно Божьего промысла?

Поняв, что священники уйдут, не освятив часовни, Саня искренне расстроился:

– Не приглянулись мы?

– Христа вырезаете, а не верите!..

– Я на ощупь живу!

Батюшки поклонились, показывая тем, что душа его на ветру соблазна и много в ней мучительного и несогласного. А Саня шел за ними следом, и ветерок раздувал его легкие волосы:

– К нам в детдом также приходили «на смотрины». Детишки выбегали: возьмите меня, возьмите меня! Стишата читают, песни поют, плачут! Как мелкие рыбешки из сети – их выкинут на берег, они и прыгают по песку, рты раззявив!.. Кто до воды допрыгает – тот спасется!

Потом он остановился и тихо спросил:

– А ты, Михей, как затерся?

– Да это Колька-снайпер у них в монастыре живет. Вот и рассказал про тебя...

Саня вовсе сник:

– И Катя? Она тоже у вас?..

Отец Антоний остановился, пригладил бороду. Седой волос выбрался из русой гущи, словно весенняя змея на теплый камень:

– А вы приходите к нам!

– Зачем?

– Мы тоже строимся. Всем дел хватает! – батюшка еще раз глянул на лесную икону, но креститься не стал.

Поднявшись по склону, священники оглянулись на часовню. Она показалась им грустным ребенком, отданным в чужую семью. Уходили с двояким чувством: с одной стороны, было удивление этой часовне как чуду, потому как не верилось, что странный мужик мог построить ее без Божьего промысла. С другой стороны, чудо это казалось слишком диковатым и совсем не каноническим...

– Не знаю я! – услышали вдогонку. – Не научили меня!..

Понуро стоял Соловей под медвежьей березой, коричневая тень загребала мохнатыми лапами желтую листву под его ногами. Какие силы обступили сейчас этого человека, священники могли только догадываться и принимали, со скорбью, терзания его души.

Оставшись один, Саня попытался подражать церковному чтению: «А ещэ молимся о богоносимой земле нашей...» Солнце садилось за ближнюю гряду. Поляна меркла.

Не любил Саня вечеров в тайге. Сколько лет прожил здесь, а не привык до сих пор: не мог осилить этого внезапного чувства одиночества.

4

Пять лет назад в Тогуленке была сырая осень.

Дождь заливал брезент старой палатки. Его жумкающий звук напоминал детдомовское детство, когда воспитанники учились в столовой жевать с закрытым ртом.

Саня натянул на голову мокрый спальник, чтобы надышать тепла, но чувствовал воспаленной грудью, как теплый хрип застревает где-то в горле. Капли шлепались, выводя его из забытья, и чудилось: кто-то крадется рядом, обнюхивая палатку. Несколько раз он поднимался, откидывая полог в надежде увидеть рассвет.

Но только дождь мутно сеял в темноте.

Он опять дремал и где-то в топком русле сна, в шелесте мокрой травы, услышал хлопки. Кажется, два. Глухие выстрелы, с близкого расстояния...

Неожиданно стих дождь.

Тайгу передернуло от медвежьего рева.

В ответ раздалась пальба наугад. Саня рухнул в палатке, прячась в холодном мешке. Но, рассудив, что один черт как погибаться, выполз наружу, согревая коробок спичек под мышкой.

Капли долбили мокрые плечи, студя тело до костей. Он озирался по сторонам: где медведь? будут еще стрелять? Спиной чувствуя, что пальнут в его сторону. Недаром детдом снился.

Склонившись над костровищем, он чиркал спичкой, успокаивая себя тем, что и сам бы сейчас палил во все стороны от тоски, голода и страха.

Туман в три слоя окутывал горы, скрывая где-то медведя и охотников: неизвестно, кто из них жив...

Но вот тишину проклюнули птицы.

Лычка бересты изогнулась от пламени, полыхнув с влажным фырканием. Щенячьей радостью дымок лизнул небритое лицо Сани. Вскоре робкий огонек приподнялся, обжимая тонкие веточки и превращая их в красный клубок.

Понемногу дым окреп, расширился, голубой упорной струйкой нырнув в тайгу.

Медвежий рев повторился где-то глуше. Но это не пугало уже отсыревшую душу.

Скрипя чайником, Саня спустился к воде, приятно ощущая дым за спиной. Река поперхнулась в русле серой мутью тумана.

На мокром шербатом камне он увидел взъерошенного кукушонка: мокрый птенец равнодушно смотрел на человека.

– Что, турнули из чужого гнезда?

Кукушонок уперся в камень обрубком хвоста и презрительно тряхнул головой. Саня кивнул сочувственно: тоже думает, как дальше жить...

Туман приподнял мутный полог над серой кипящей водой; от долгих дождей река вспухла и скрыла большое осклизлое бревно, в которое Саня обычно упирался ногой.

Вдали над водой ему слышались голоса людей.

Первое, чему научился он в тайге – это слушать себя. Страх не надо оставлять за спиной. Лучше идти ему навстречу.

Он знал по себе, что человеку в тайге пропасть легче, чем осеннему листу. Можно идти сотню верст и никого не встретить, хотя каждый твой шаг будет известен всем обитателям леса.

Оставив чайник, он пошел на запах дыма. Отыскал людей и затаился в мокрых кустах. Хотя мог бы выйти, поздороваться и даже принять угощение, как любой скиталец, промышляющий в тайге. Но он не выдал себя: привычный страх детдомовца – боязнь запятнаться чужой виной.

Охотники бродили по поляне и собирали вещи.

– Шапку потерял! – крикнул маленький, чернявый, похожий на звереныша, которого вырастили в неволе.

– Брось! Добра-то! – отвечал ему толстый мужик в фуфайке нараспашку. Ружье он держал под мышкой и поглаживал пузо, будто краденый мешок.

– А если она по запаху найдет?

Третий был высокий и носатый, обут в огромные ботинки, похожие на кувалды. Ходил он размашисто, сшибая мелкие ветки:

– Да окочурилась, поди! Сколько в нее всадили!

Они пили водку стоя и снова кружили по поляне, словно аварийный самолет, вырабатывающий запас горючего.

Потом опять пошел дождь.

Саня вернулся на свою стоянку.

Залез в палатку и пролежал весь день, а потом и ночь без сна. Дождь лил упорно, с болотным сопением. Капли нудно шелестели о брезент, временами кучно падали с веток, мешая ему вслушиваться в ночные звуки: то ли пьяные голоса охотников, то ли тревожные крики птиц.

Под утро дождь стих. Даже ветерком обдуло.

По склонам гор сползал туман. А вскоре сырую поляну лизнуло робкое солнце.

На тонких ветках задрожали капельки светлеющего дня.

Саня ел кашу, запивая ее чаем с дождевой водой.

Когда солнце пригрело, он опять пошел к охотникам, вздрагивая от падающих с ветвей капель. Но поляна была пуста. Под кривой березой увидел двух убитых брошенных медвежат. На развилке меж ветвей висела приманка, за которой звери и полезли на дерево. Возле речки, на сухой гальке, разглядел кровавой след. Возможно, медведица была здесь утром.

Такого жуткого страха он не испытывал даже в детдоме! Ему хотелось скорее бежать. За каждым кустом мерещилась тень раненого зверя. Но все же он закопал медвежат трясущимися руками.

Даже лопату не стал брать: а вдруг медведица узнает ее по запаху?.. Собрал вещи и пошел на станцию. И только сидя в электричке, еще раз вспомнил о медвежатах, как об убитом в детстве щенке. Неужели никто не придет и не узнает о них?

А мысль в тайге западает крепче, чем кедровый орешек в расщелину меж камней.

5

В детдоме, где жил Саша, у детей было общее все: посуда, одежда, книги. Только учителя и воспитатели имели свой быт, жили в своих домах и имели свои семьи. Но это не вызывало зависти, пока однажды директор не завел себе двух породистых щенков-лаек.

Дети тоже захотели иметь собак.

На хоздворе строились будки из старых досок. Само существование этих домиков давало ребятишкам иллюзию родного угла. Они носили лохматым друзьям булочки и котлетки, заботливо укладывали свежую солому в подстилку.

Саша тоже присмотрел себе щенка, когда на базе мехколонны оценилась собака. Это была настоящая охранница, она знала всех работников колонны, но любого жителя поселка считала вором. Поначалу и детдомовца она обнюхала с недоверием.

В то время Саша задумал еще построить аэросани. Его жалели как чудного мальчика, рабочие мехколонны сварили каркас саней. Со списанного трактора отдали мотор, который Саша примастрячил к каркасу вместе с учителем труда. Лопастей гнул сам из дюралевых листов. Конструкция получилась громоздкая, как печь Емели, и поехала бы только по щучьему велению...

Когда Саша пришел забирать рыжего щенка, сторож сказал: «Погоди, отвлеку мать. Она отчаянная! Ножом резали, вся в крови была, а не пустила к складам!»

Саша дал ему кличку Джим.

Щенок оказался умным: вилял хвостом только перед завхозом. Во время свиданий мальчик ловил его за длинные мягкие уши, будто они были из плюша. Джим выворачивался, округляя глаза и обнажая розоватые белки. Со стороны мехколонны раздавался лай матери, и щенок замирал. Саша протягивал ладонь: «Дай мне!» Песик доверчиво укладывал крупную лапу с черными кожаными подушечками, еще несколько не истертыми. А другой лапой уже обрушивал ладонь хозяина.

Однажды Саша пришел грустным: «Мамку-то твою воры отравили! Сирота ты теперь!» Джим радостно скулил и подставлял голову под ослабшую руку мальчишки. «Потому у тебя нет будущего...» Саша чувствовал, что прервалась какая-то связь, необходимая для взросления даже собачьей души. В тот день ему хотелось спрятать щенка за пазухой и бежать из детдома...

А потом у одного мальчика обнаружился лишай: его положили в изолятор. Детям запретили приходить на хоздвор. Но лишай пробрался на затылок к другому мальчишке. Его заподозрили в том, что он тайно бегал к своей собачке, и тоже заперли в изолятор. Врачи были в растерянности, директор прятал своих лаек. На уроке литературы учитель спрашивал мальчишек: кто еще бегал?

«Саша!» – посмотрел он на Соловьева. Вася Васич обращался к воспитанникам только по имени, как в обычной семье.

«А что им, с голоду помирать?»

Широкое скуластое лицо учителя с утра было опухшим, на щеках порезы, волосы чуть влажные, в краешках глаз блестели похмельные живчики.

«Игорь?» – учитель посмотрел на другого пацана. Но тот молчал. «Игорь!» Опять молчание.

«Штырь», – сквозь зубы шептали с соседних парт.

Его забирали приемные родители и дали новое имя. Чтобы ничего не напоминало о прежней жизни. Но потом вернули. И мальчик перестал откликаться как на старое, так и на новое имя.

«Игорь, – уже по-иному произнес учитель, – был такой древнерусский князь! Жил в богатстве, попал в плен – стал рабом, потом бежал – скитался бродягой, вернулся в родные стены – стал государем!» Сегодня он говорил так, будто ему было стыдно. Но не за князя даже, а за что-то еще...

В этот момент послышались выстрелы из ружей. Мальчишки вскочили и прильнули к окнам, выходящим на хоздвор. Саша увидел только недостроенные железные сани, ему вдруг показалось, что они поехали по двору, давя мечущихся собак. Сквозь туман, поплывший перед глазами, он разглядел директора, военрука и завхоза: они стояли в ряд и палили по прибудной стае. Собаки визжали и катались серыми клубками, отбрасывая красные нити...

Вася Васич отрывал детей от окон. Они кусались и скулили, как их раненные питомцы. А Саша сел за парту и даже как-то назидательно сказал: «Говорил же, что не будет у него будущего!» Теперь и он останется сиротой на всю жизнь... Еще мелькнуло в голове: никто не думал, что аэросани поедут, его просто жалели: мол, пусть хоть во что-то верит! «А нельзя верить слепо!»

Рядом уселся Штырь. Они презрительно глядели на ревущих пацанов. Только домашние могут звать на помощь. Детдомовца никто не услышит...

В тот же день Саша сбежал вместе с другими пацанами, потому что им не дали похоронить собак. Он бродил по лесу, спотыкаясь и прижимая руки к груди. Не дали проститься! Поддержать в последний раз... еще теплого, еще мягкого. Мальчик упал в траву, не в силах держать боль в груди и успокаивая себя тем, что щенок мог убежать, затаиться, уползти в щель. Саша кричал, звал собаку. Прислушивался к лесным звукам, надеясь различить знакомое шуршание лап по траве. В глазах мутилось от слез: не увижу! не увижу! больше никогда не увижу! Впервые в жизни он извинялся: «Прости, Джим, что взял тебя! Прости, друг, что не спас!»

День был ясный, холодный, осенний.

Когда боль становилась невыносимой, Саша опять ложился на землю и шептал: «Сейчас, Джимка, сейчас! Потерпи немного... Я побуду один. Потом еще тебя поищу...» Мальчик вышел к реке, сел на берегу и долго слушал журчание воды по камням. Для созревания души важно понимание, что горе бывает личным. И даже сквозь несчастье можно увидеть дальнейшую жизнь. Ему будто подсказал кто-то, что похожая беда случится с ним еще. Повторится через много лет: он потеряет кого-то близкого, и те страдания, которые не вынес сейчас, он одолеет позже окрепшей душой. Это пришло в одно мгновение. И ему стало легче.

В детдом он вернулся сам. И с того дня стал «заговариваться». Увидев из окна двух веселых лаек, он сказал: «С них началось, ими и кончится!» На следующее утро перед окнами директора висели на березе две невинные лайки, с табличками «Месть». Сашу посчитали зачинщиком (к нему приходили пацаны за проволокой), но вступился Василий Васильевич. Учитель видел в мальчике тонко чувствующую душу и честность исполнителя, осознающего свой дар.

6

...Прошел месяц, и его опять потянуло в Тогуленок.

Опять были туман и слякоть. Саня нашел поляну с глинистым бугорком. Под кривой березой нашел свою лопату и поставил рядом палатку.

Наступил вечер, а с ним и грустные мысли. Он сидел возле медвежьей могилки, вспоминая свою жизнь.

Пухлая струя костра ударялась в темную хвою пихты и выходила сквозь нее, как дым из ноздрей курильщика.

Он не знал, где находятся могилы его прадедов, не ведал, живы ли родители. Свою семью не сберег, друзей не имел, и не ждал ничего, что могло бы согреть его или вернуть обратно в город.

В сорок лет он пытался начать жизнь заново.

Небо мокрило, чахнул огонь, дым кружил и выедал душу. Саня лежал в мокрой палатке, обернувшись тоской прошлой жизни, как ежик осенними листьями.

Женился Саша по велению сердца: изменив финал грустной пьесы. А дело было так: после армии поступил в художественное училище, рисовал темный лес и пил! Не получалось у него светлого! Вот и приткнулся к бутылке: «Водочка, она мне завсегда и папа, и мама!»

Его, как бывшего детдомовца, жалели, пристраивали. И однажды заманили в театральную студию. А там сплошь девчонки! Ставили пьесу «Мельница всеобщего счастья». Саша играл солдата, вернувшегося с войны в колхоз, где работали одни бабы. Его, конечно, выбрали председателем, но он не командовал, а все больше мастерил, прилаживал – словом, облегчал жизнь как мог. И само собой вышло, что любовь его обошла! Нельзя было. Всеобщее счастье – это как щепоть соли в баланду – каждому только в ложке добудется. Директор училища даже прослезился на премьере: мол, не знал, что ты талант такой!

Но тоска его не проходила, и когда предложили играть старшину Васкова в спектакле «А зори здесь тихие», Саня уже готов был влюбиться. Декорации писал сам: река с перекатом, на дальнем берегу сосновый лес, в глубине его притаилась избушка, рядом часовенка с голубой крышей. Лес получился уютный, солнечный; никогда не испытывал Саша столько любви, внимания и восхищения, как в том чудном лесу. Вот уж где можно было облюбиться! И домик вышел добрый, и часовня ласковая!.. Девушки лианами висели на его солдатской груди. Лесную жизнь он любил, крики птиц знал, шалаши строить умел. И особенно красиво получалось у него держать на руках умирающих бойцов в юбках. Только одну из них держал он крепче и нарочно заслонял от пуль, удивляя режиссера. А потом женился на ней... И еще было одно странное чувство: они бегали и стреляли на фоне лесной часовни, и Саше казалось, что всем его словам и любви даже по тексту пьесы не хватает чего-то, как голубой маковке ее креста.

Саня выпил из фляжки.

Не научился он дорожить: ни любовью, ни работой, ни прошлым своим. В детдоме, кто ничего не имел, тот был свой, а если что припрядешь, в душе или под подушкой, то – жмотерый! Однажды только Саша спрятал фляжку в брезентовом чехле, подаренную солдатом на вокзале. Потом все же украли; все другие вещи просто взяли, а ее – украли...

Всю жизнь чувствовал он, что занимается не своим делом. Работал художником-оформителем и со скукой выводил гуашью радужные цифры соцобязательств, водил поезда – стыдился за уголь по обочинам среди белых полей, к тому же не любил начальство над собой и жесткий распорядок дня в работе. Если становилось невмоготу, брал рюкзак и уезжал в тайгу. Но и туристам он был чужой. Они ходили в горы, чтобы выгулять душу, как собачку на газоне. А ему, с каждым разом, все труднее было возвращаться в город. Душа задыхалась уже не только от грязного воздуха...

Под утро Саня проснулся от того, что его придавило через брезент что-то теплое и мягкое. Он выглянул из палатки, и спина одеревенела! Медведь!.. Огромная зверюга! Она тоскливо рычала на березу, где висела еще приманка, задрала морду, скаля белые клыки и лохматя когтями несчастное дерево.

Медведица не оборачивалась в сторону палатки, хотя чувствовала взгляд человека. Видимо, не боялась его. Саня даже разглядел раненую лапу на белом стволе. Потом она грузно опустилась, прошла по краю поляны и ушла. Он понял это, потому что услышал писк комара в углу палатки.

Он выполз на коленях, прислушиваясь, но все звуки тайги заглушало испуганное сердце. Если б он смог сейчас заплакать – горько и с упоением, – то простил бы, казалось, кому-то свое безотрадное детство! Но в душе была холодная ясность. Он вспомнил расстрел собак в детстве. Ему хотелось валяться на поляне, царапать землю ногтями, кусать траву, сойти с ума на время, только бы показать медведице свою звериную изнанку. Пусть придет, понюхает: горе одинаково пахнет у всех!

И еще он понял, что рядом с медвежьей могилкой место единственное безопасное для него во всей тайге. Саня встал на колени, обратился к востоку и перекрестился. Жаль, что у него нет иконы, пусть даже бумажной. «Господи, помилуй!» – шептал он, и душа после страха наполнялась человеческим теплом.

Разглаживая окоченевшую душу, таежный бродяга оглядел поляну, ожидая увидеть медведицу с другой стороны. Три года он бродил в поисках места для дома; видел родник в каменной чаше, возле которой стоял когда-то монастырь; забирался в пещеры старообрядческой церкви, где на стенах еще оставались вырезанные в глине лики святых. Но нигде не задерживалась его душа.

Тем временем утро набирало силу. Горный распадок светлел и ширился.

Саня оглянулся: дальние склоны еще скрывал туман, низко карабкавшийся по влажным камням. Но и здесь он начинал слабеть и рваться, цепляясь за каменные выступы, за одиночные деревья, делая их очертания мутными и призрачными.

Вот так же, чувствовал он, по малому светлому пятнышку, накопилось что-то в нем за многие годы бездомной жизни.

Теперь он нашел!

Душа вцепилась в глинистый бугорок, как в свою родину. Саня свалил сухую талину, улыбаясь и вспоминая ночное тепло, будто он спал в доме с печкой.

И словно приветствуя его, озаренная солнцем долина распахнула холмистую душу во всю ширь; влажная зелень мягко парила, по ближнему хребту отчетливо выступили в ряд стройные пихты. А солнце нашло золотую брешь меж ними и залило поляну длинными белесыми лучами.

За несколько дней поляна покрылась пихтовой корой от срубленных деревьев. Белые склизкие бревна лежали в траве. Но вскоре Саня стал замечать, что душа противилась губить пихты, так гулко стонущие при падении. Чего-то вновь не хватало ему.

Не оставляла его и медведица. Она приходила на могилку, будто тоскующая мать, и слушала, как человек в одиночку ширкает двуручной пилой.

Была глубокая осень.

Как-то, обедая, он кинул зверю кусок хлеба. Медведица брезгливо оскалилась и отошла. Саня поднял хлеб, обмакнул его кашей и опять бросил в ее сторону:

– Бери, тебе скоро в спячку!

Медведица осторожно взяла хлеб и скрылась в кустах.

А потом наступила зима.

Соловей пробовал жить в соседних туристических избах, но в чужом доме лавка мягка лишь хозяину. Как ни встал – все не вовремя, как ни поел – все не впрок. Солнце не грело

через окна, стены не спасали от метели. Он опять уехал в город. Жил в общежитии, где за ним оставалась комната.

Но однажды в феврале не выдержал и навестил свою поляну. Бревна замело снегом. Мерзлые осины стояли в бархатном инее, и тоскливо скрипели на ветру. Пихты запахнулись в белые шубы, пряча где-то под полами медвежью берлогу.

7

Следующей весной он вернулся к родным уголкам.

С поляны почти сошел снег. На темных пеньках срубленных им деревьев сочилась рыжая пена. Саня поставил палатку и взялся за работу. Сопревшая за зиму кора снималась легко, обдавая его сладковатым пихтовым духом. Этот запах напоминал ему вкус ананаса, который ел он однажды в жизни на своей свадьбе.

Саня рубил дом, уже решив окончательно перебраться в тайгу. Иногда приходили к нему туристы, но не верили, что он сможет жить здесь один. Они шли дальше, покорять горы и тоску в себе. Растерять на каменных тропах все, что казалось им ненужным, чтобы вернуться в город с облегченной душой. Туристы напоминали Сане пловцов, которые выныривают на миг за глотком воздуха и опять погружаются в чуждую им стихию.

Медвежий бугорок затянуло густой травой. К тому же зимой повалило кривую березу. Ее обрубок с развилкой Саня воткнул в землю, чтобы не потерять могилку вовсе.

Под раскидистой пихтой он сделал лавку и стол. Садясь за него по утрам, он пил чай с листом смородины. Потом рисовал карандашом на куске фанеры. Что-то просилось наружу, еще неясное...

Когда появилась пучка, пришла медведица: худая и облезлая.

Она чесалась, поводя боками и втягивая сопливыми ноздрями запах чая. В нижнее веко ее впились два клеща, раздувшись красными ягодами.

– Давай, – протянул Саня руку, – я тебе помогу!

Хозяйка тайги улыбнулась, оскалив желтый клык. В этот момент из кустов выскочили два мохнатых колобка.

– Смотри-ка, котята! – вырвалось у него с восторгом.

Медведица рыкнула, и детки затаились в зарослях волчьего лыка. Она обошла и обнюхала поляну, оставив Сане его бревна, затем опять раздался ее ворчливый голос, и медвежата выбрались из кустов. Они носились как дети: догоняя и запрыгивая на спину друг другу, переворачиваясь, отбиваясь всеми лапами, кусаясь и отплеываясь шерстью с травой. Они не боялись человека, чувствуя защиту матери.

Вот чего не хватало Сане в детстве: заступничества! И еще возможности подражать верному примеру. Он и сейчас, среди глухой тайги, ощущал свою безродность, будто кто-то мог прийти и сказать ему: «Здесь не твое место! Уходи!»

Где же оно? Саня искал его всю жизнь. Не помогал и звериный нюх, которым обладал он с малых лет. Тут должна бы душа подсказать!

И теперь, положив первые бревна, он опять потерял уверенность в том, что сможет поднять сруб и что дом нужен ему здесь. Чувство страха и незащитности лишало его сил.

А обрубок березы прижился на поляне. Его изгиб стал уже необходим глазу, он вписывался в очертание нижней гряды за рекой. Вначале Саня думал вырезать из кедра медвежонка и прилепить к березе. Потом хотел заменить медвежонка существом, похожим на лешего. Вроде берега поляны и будущего дома.

Но с тех пор как появились новые детки, кривой обрубок стал казаться пугающим. Саня впервые задумался, как сохранить память об убитых медвежатах.

Пришло лето.

В русле стоял нескончаемый шепот травы, полощущий в быстрой воде распущенные зеленые косы.

По утрам у него опять возникало давнее ощущение бездомности, уходящее в детство. Туда, где впервые очнулось его сознание, ныряя и возвращаясь из неизвестности, без всякого порядка и вех взросления, которые устанавливают обычно детям их родители.

Саня разглядывал на ладони еле заметный рубец, будто и в нем искал какую-то отгадку. В его детдомовском «Деле» было написано: «Поступил в возрасте трех лет с ожогами на ладонях и коленках, которые мальчик получил от печки. Видимо, родители оставляли в доме без присмотра. В детдоме мальчик ведет себя дико, расцарапывает ожоги до крови и часто произносит слово: угоишь!»

Таежный художник загрунтовал доску и провел на ней контур женской головы в платке.

Пугающий ночной голос резанул в памяти. Его будили: «Вставай, к тебе пришли!» Он бежал к ограде детдома и видел силуэт женщины, низкий клетчатый платок, лицо в тени. Саша вцепился в железную сетку, но женщина, постояв с минуту, скрылась за темной сосною.

«Кто это был? – кричал он обступившим его мальчишкам. – Какое у нее лицо?»

«Да не было никого! Мы пошутили».

«Нет, была! Вы просто ее не видели!»

«Скажи лучше, как тебя поймали?» – Его брали в кольцо и вели от ворот.

Один мальчишка держал Сашу за руку, спотыкался и опускал голову. Он изображал чью-то приемную мать, которая хоть и вернула приемыша обратно в детдом, но все еще прощала бы и прощала: «Дай только слово, и мы вернемся! Дай слово!» Другой пацан корчил из себя учительницу, глуповато раскрыв рот и покачивая головой: «Никто не пришел, не объяснил! Время было упущено!» А здоровый парняга-переросток изображал капитана из детской комнаты милиции. Он хмурил брови и прикидывал, через какие дыры в заборе удерет беглец в следующий раз:

«Вот откуда следы-то ведут!..»

«Дай только слово, и мы вернемся!»

«Никто не пришел, не объяснил! Время было упущено!»

В спальне Саша растолкал мальчишек и молча лег. Пацаны обступили его кровать: он, оказывается, плакал во сне и звал маму. Вот его и пожалели таким образом!.. Была ночь, но никто не спал. Дух побега витал в темной палате. Крикни сейчас: айда! – и рванули бы все вместе.

Саша обвел мальчишек виноватым взглядом: «Я маму во сне нашел!» В глазах, блестящих злостью, он видел, что ему хотят верить: «Расскажи, как?»

«Пошел один мальчик, – смотрел Саша в потолок, чтобы не видеть, как выхватывают они из глотки каждое слово, – искать маму! Долго ездил по разным городам, чтобы найти свою голубоглазую мамочку. Однажды он попал в лес, такой красивый и светлый! И там рос голубой цветок, сильно прекрасный. Но мальчик не заметил цветка, а это была его мама!.. (Саша придумывал на ходу, запинаясь, но его терпеливо ждали.) Дальше лес стал темнее и гуще, и ему захотелось пить. Вдруг он увидел маленькое озерко. Тоже голубое! Мальчик попил воды, но не догадался, что озеро было его мамой... (Саше стало душно от горячего дыхания склонившихся ребят.) Потом лес пошел еще страшнее, с огромными корягами. И увидел он медведицу...»

«Тоже голубую?» – засмеялись мальчишки...

Прошло много лет, и только теперь, в таежной тишине, Саня ответил им:

– Если идет против солнца, то точно, как голубая!

Построив дом, Саня перебрался в него. Икону с голубым медвежонком приладил в передний угол.

До самой осени жил без двери и печки. Пищу готовил на костре, и это нравилось медведице. Она приходила к нему на обед и даже совала морду в остывший котелок.

Но когда с первыми холодами на срубе появилась дверь, хозяйке тайги это не понравилось. Она сорвала ее с петель. Просунула морду в проем. Темные глазки блестели любопытством: мол, как ты тут, один? Саня вынул из печи горящее полено, медведица зарычала и ушла, признав за ним право на эту бревенчатую берлогу.

Прозвали его Соловей. За разбойничий вид, за дружбу с медведями и, самое главное, за большую дорогу – широкую тропу, которую проложили туристы и разный бродячий народ, охотчий поглядеть на странного мужика, пишущего таежные иконы. В округе никто его не любил. Местные охотники – за то, что похоронил медвежат, да еще берег это место как напоминание им. Туристы не могли понять быт Сани: чем он питается, на что живет; они смеялись над Соловьем и рассказывали о нем всякие вздорные истории.

8

К осени медвежата подросли, стали лобастыми, гривастыми и еще более шепутными. Они по-прежнему играли на поляне: выгибали спинки, припадая мордами к земле, готовясь нападать или удирать, смешно вышагивали боком друг перед другом, покусывая воздух и царапая когтями траву. Медвежата были детьми тайги, и звуки их возни казались Сане продолжением порывов ветра или шума ручья.

Каждый день он невольно поглядывал на проплешины в густой траве под кустами рябины, пытаясь угадать появление медведицы. Но это ему никогда не удавалось.

Вот и сейчас Саня повернул голову, когда хозяйка тайги уже втягивала черным носом запахи на поляне и глядела на него своими странными маленькими глазками.

Она всегда чувала следы событий, происходившие здесь без нее. Покачивая ушастью головой, подошла к столу и ворчливо слизала кусочки чужого хлеба. Обнюхала лавку, где лежал туристический рюкзак.

Соловей медленно усаживался на бревно. При встрече с медведицей он научился не заговаривать с ней первым. Чувствуя дыхание зверя за спиной, ему становилось жутко, а в голове отчетливо застревала какая-нибудь мысль, будто она была последней в его жизни. Можно сказать, что медведица первая приучила его к молитве: «Господи, спаси! (Со временем мольба о заступничестве сквозь страх превратилась для него в состояние какого-то священного оцепенения.) Господи, спаси!» И еще Саня заметил, что медведица понимала его взгляд внутрь себя, и это вызывало в ней наименьшую агрессию.

Почти всегда она требовала у него чаю. Был такой случай. Один из туристов спрятался на крыше дома, чтобы посмотреть, как медведица пьет чай. Горячий котелок тоже подняли на крышу. Ждали недолго. Пришла медведица на запах, встала во весь рост под карниз, втягивая носом медовый дух распаренного лабазника. Турист подполз ближе, нагнул голову и столкнулся нос к носу со зверем. От неожиданности его очки упали ей на морду! Медведица испуганно скинула их лапой и убежала...

Зайдя в дом, Саня лег на нары и уставился в потолок. Это было его любимым местом: на нестроганой доске отпечаталось темное смоляное пятно, напоминавшее ему женский образ. Лицо вполоборота, округлое белое плечо, темные волосы с извивом. Словом, оттиск мечты. Иногда он забывал о женском лике на потолочной доске. И потом открывал заново (образ складывался только с одного, определенного ракурса), с новой радостью узнавая неизменно милые черты.

Этой осенью зацвели верба и ольха. Будто пытались они желтым и розовым весенним пухом удержать бледнеющие краски облетевших деревьев.

По утрам до восхода солнца вставал над тайгой морозный сизый туман, почти прозрачный, заметный лишь в глубине дальних распадков. Тайга была вся еще теплой и только слегка поеживалась от чужеродного холода.

Саня спустился к реке.

Туман затаился в стеклянных ярусах кустарника. Тускло блестели от первых лучей заиндевелые верхушки ивы.

Камни вдоль берега надели хрустальные юбочки, отметив ночное падение воды. Корни деревьев и прибрежной травы обледенели прозрачными голышами. Черные струи воды тщательно вылизывали их под обрывом.

К первой наледи пристали кусочки желтой пены: они медленно сцеплялись и замирали в рыхлом ноздреватом крошечке. Ночью мелкие ячейки темной воды затягивались ледяной перепончатой пленкой. По теневой стороне реки эта пленка приподнималась над водой и разрасталась в прозрачное ветвистое кружево. Днем, от теплых лучей солнца, кружево ломалось и его уносило течением.

Но все же холод нащупал тихое место реки возле поваленного дерева. С каждым утром лед заметнее отходил от темного мореного ствола, пытаясь перекрыть мелкую тиховодную заводь.

Лишь на стремнине вода журчала яростно и непокорно.

Мелкие птицы летали стаями, разнося по тайге тонкий невнятный звон. Птицы перекликались, но не пели; их голоса казались сытыми и беззаботными.

В воздухе проблескивали нити паутины, жили муравейники, и дождевой червяк лениво таился под влажной листвой. Все еще ждали дождей и тепла.

Осенний лес был как молитва!

Только бы найти нужное слово, только бы успеть обратиться к кому-то: «Люблю... жду, жду и верю!»

В эти дни не покидала его тихая бескровная тоска!

Иней на ветках ивы сполз от солнечных лучей, и ее верхушки блестели теперь слезной росой.

Замороженная трава хрустела под ногами, осыпаясь снежной пылью. Снег пока не выпадал, но по северным склонам он вырос из ночного инея и лежал в изогнутых листьях, как обломки белого фарфора.

Весь день Саня бродил по тайге. С какой-то прощальной тоской разрывал он на груди сплетенные ветви карагана. И так хотелось ему обняться с кем-то, прижаться всеми болями и вмятинами своей души!

Как бывало уже не раз, на излете теплого дня он пошел на Лысую гору, а вместе с ним карабкались по пихтам слабеющие солнечные лучи, перебирая на вершинах вязанки рыжих шишек.

Если взобраться до заката на Лысую – самую высокую гору Тогуленка, – то успеешь еще остановить угасание дня, сможешь увидеть, как мутное и обескровленное солнце парит над вечерней мглой, облетая, словно огненный одуванчик.

А на самой вершине горы всегда хочется оглянуться вокруг, чувствуя в одиночестве, как парит душа!..

Вечернее солнце пригоршнями разбрасывало розовый свет на белые вершины, оно прощалось с тайгой так, будто завтра закроют небо снежные тучи. Саня тоже расставался, никого не встретив. И душа остывала вместе с солнцем.

Розовое пятно угасло на дальнем склоне. А в мутном небе, таком огромном и бесприютном, тонула бледная заря.

Да, широка осень на пустые объятия!

9

Возвращаться в пустой дом он не захотел.

Спустившись с Лысой горы, Саня пошел в поселок Салагир, где на окраине негаданно столкнулся со знакомым охотником в ботинках, похожих на кувалды.

Михей позвал кого-то еще, и перед ним встала девушка в белых туфлях! Она подошла быстро, будто ждала его, будто отгадала его детскую мечту быть узанным...

– Забери ее, – охотник почти тряс Саню за плечо, словно хотел разбудить, – нельзя ей здесь! Мать в интернате, пьяная ноги во сне обморозила... Одна девка осталась. Лезут к ней в дом всякие! Пропадет с ними!..

Девушка стояла безучастно, без особой надобности, напевая что-то и пританцовывая. Скажи ей: прощай, – она пошла бы дальше, ничуть не расстроившись.

– А отец ее где? – спросил Саня.

– Да какой отец? – почему-то обозлился Михей. – Кто его знает, из старателей, говорят, был. Бери!

Михей уговаривал, а Саня даже не верил, что вернется домой не один, что пойдут они вместе, молча, и при подъеме учащенное дыхание скажет ему больше, чем любые слова. Он шагнул назад, охотник поймал его за рукав, требуя «выкуп» за свое сватовство. Какое-то обещание усмирить медведицу. Скрытые угрозы перемешивались у него с простодушной верой в то, что Саня сможет, как цирковой артист, уговорить медведицу кланяться убийцам ее детей...

По ночной тайге он шел с закрытыми глазами, натываясь лицом на хлесткие ветки. Всю жизнь он брел так, наугад, словно щенок-оторвыш, пытаясь уткнуться носом во что-то родное!

Была уже ночь. Лунный свет занялся в той же ложбинке, из которой утром вставало солнце.

Первым делом луна осветила разрозненные куски снега на поляне, пытаясь слить их в одно белое покрывало. И девушка в белых туфлях шла по голубой пороше, зябко поднимая ноги.

– Замерзли ноги? – спросил Саня. (Покачала головой.) – Да замерзли! Не по сезону вырядилась!

Саня чувствовал, что девушке неприятна его забота, будто он уже нацелился с какой другой мыслью на ее ноги.

Следы от туфель оборвались перед домом. «Пришла в белых и уйдет в белом!» – мелькнуло в голове, как всегда, ниоткуда и ушло в никуда.

Она быстро забила в дальний угол комнаты для туристов, легла и накрылась спальником с головой. Саня растопил печь и вышел из дома. Сел на скамейку, будто в доме было холоднее и уютнее, чем в темноте осенней ночи.

Дым из трубы соскальзывал с крыши серыми клубами, распушался на ветках пихты и робко прижимался к земле. Впервые Саня чувствовал себя таежным отшельником, потому что не знал даже, как обратиться к девушке: мол, располагайся, давай знакомиться, будем чай пить...

Опыта общения с девушками у него не было. (О его женитьбе можно было сказать: просто взял под козырек!) В детдоме была такая игра «в развод». От девушек выходила самая бойкая участница, от парней чаще всего выбирали Сашу, за то, что не был очень груб. Суть игры: кто больше назовет домашних вещей – тот больше и получит. «Я беру сковородку с деревянной ручкой, – начинала девушка, – и хрустальную вазу!» Саша находчиво соглашался, мол, пусть тебе новый муж цветы покупает! «А я беру холодильник «Бирюса» и кровать». Девчонка спохватывалась, что уходят крупные вещи: «Я беру пылесос «Космос» и...» Ее перебивали: нет такого! А Саша, воспользовавшись растерянностью «бывшей», оттяпывал у нее машину. Вспо-

миная детдомовских «жен», Саня видел лица смутно, будто скрытые за витриной магазина, где на переднем плане красовались вещи: например, духи, подсвечник или цветная пряжа. Но была одна девочка, которая отдавала вещи играючи, без сожаления. Она даже придумывала по ходу игры историю их семьи. И всем нравилось, что они катались когда-то на лодке; Саша дарил ей шляпу и черные очки, а она ему (девushка надевала шляпу, как бескозырку): «Уточку!» – подсказывали пацаны, как будто вправду вспоминали что-то хорошее из прежней жизни. А вообще, «разводы» шли изнурительно долго, и это научило Сашу какой-то не очень честной выдержки по отношению к женщине.

«Надо было носки ей дать! – спохватился Саня. – Но теперь уж спит! Все как-то быстро, – думал он про нечаянную гостью, – пришла и ни о чем не спросила!»

Он обвел взглядом поляну, ища какие-нибудь новые приметы, по которым запомнится ему этот вечер.

Луна вставала за густым пихтачом с тем же поклоном, что и утреннее солнце, с той же ловкостью проскальзывая сквозь густые ветви. До какого-то момента даже небо не могло бы отличить солнечный диск от лунного. В глазах потемнело. Но он запомнил: эта встреча случилась, когда луна поменялась с солнцем. Как зарубка на сердце! Еще не веря в свое счастье, он боялся «заблудиться» в начале нового пути. Всю жизнь он мечтал влюбиться! На духовном поприще человек все едино остается человеком. Возросшие силы души просили «опробовать» их: если смог бы полюбить женщину, то полюбишь и Бога!

«Кто она? – Саней овладело нетерпение. – Пойду скажу: мол, я человек открытый. И в ответ хочу, чтобы все было не тая!»

Тем временем луна прослезилась, острым краем задев горную седловину, – небо резко потемнело, и Саня успокоился.

Когда он вошел в дом, девушка спала. Саня ощутил одновременно и досаду, и облегчение, словно лишь теперь закончилась его долгая бездомная жизнь.

Окно отбрасывало лунный свет на постель, виден был голубой завиток ее волос. «Подобрал, как котенка!» И еще показалось, что все это происходит не с ним, а с кем-то другим.

10

А утром пошел снег, самый первый, самый заботливый. Он проникал во все потаенные уголки леса – мелкий и почти струящийся, – белой пылью оседая и повторяя каждую ложбинку, каждый изгиб земли.

Лопотал огонь в печи.

Теплая волна дошла до маленького оконца, высушив на нем утреннюю испарину. Меж рам ожил тощий комарик: он широко расставил слабые лапки и с грустью смотрел на Саню.

Снег за окном все сеял и сеял, окутывая тайгу в белое непроглядное море. Лишь вблизи было видно, как отдельные снежинки проскальзывают на землю сквозь лапник и бурелом, будто мука через сито.

Весь день гостья проспала, отказываясь от еды и не отвечая на его расспросы. Но вечером сама предложила помыть посуду.

– А как ты окликнула меня вчера? – Он старался не смотреть на девушку, чтобы не смутить ее или не растеряться самому.

– Не помню, – хрустели мокрые бока кружек.

– Ты же не знала меня раньше...

– Слышала.

– А что про меня говорят?

– Я спросила: где твоя медведица?

Саня подумал, что медведица теперь уж точно легла и укрыта пушистым снегом. Он засмеялся:

– Я думал, и ты всю зиму проспишь!

Девушка смотрела на него спокойно и почти равнодушно, будто была из обычных туристов, которая прибирала посуду, прежде чем уйти в поход.

Звали ее Катя. Все имущество на ней было: бордовое платье, кожаная куртка и мамины выходные туфли. Белые... Красиво они смотрелись на белом снегу! Когда она сняла куртку, Соловей разглядел ее фигуру. Была в ней не то чтобы склонность к полноте или широкая кость, но скорее предзимний жирок, особая меховая аура – мягкая, гибкая, искристая. Русая толстая коса и густая челка, под которой открывалась на лбу легкая испаринка. На щеках румянец; когда она приходила с реки, зардевшись при подъеме, то даже тени под глазами казались темно-вишневого цвета. По утрам, после умывания, лицо Кати становилось молочно-розовым, и только на носу оставалась малиновая лоснящаяся полоска поверх маленькой горбинки.

Однажды она сидела в кухоньке и разглядывала закопченные книги на полке: Есенин, Шукшин, Рубцов. Вдруг из-за фанеры на стене мелькнул темный жгутик, потом раздался резкий корябающий звук, и что-то живое свалилось вниз, угодив в помойное ведро. Катя взвизгнула.

– Жаль, Машка спит! – воскликнул Саня. – Вот бы позабавилась!..

Представив с улыбкой, как его подруга фыркает на мышь в ведре, он решил, что само собой нашлось имя для медведицы. Потому что у него теперь было две особы женского пола.

Появление Кати изменило его жизнь. Саня начал как-то охорашиваться, больше суесться. И это не нравилось ему.

За окном стояла хмарь.

Первые зимние дни тянулись долго. Громко отстукивал минуты железный будильник. Саня неспешно строгал топорнице и следил с какой-то придиричивостью за движениями девушки.

На стекле отражался оранжевый язычок свечи, будто из-под снега пророс острый стебелек кандыка.

Катя взяла с книжной полки фотографию мальчика лет двенадцати:

– Сынок твой?

Саня сел на корточки перед печкой, чувствуя, как заныл на ладони старый ожог:

– Мой.

– И кровь не зовет?

– Не знаю. У меня своя кровь, таяжная...

Катя смотрела грустно, по-женски угадывая что-то:

– Видимо, на мамку похож!..

Вишневые круги под ее глазами стали шире:

– Какая уж там кровь-то? Нельзя одному жить! – сказала так, будто собиралась уходить. –

На меня долго не рассчитывай! Выть на луну здесь не буду! Хотя хочется.

– Страшно?

– Уйду я...

– Мне тоже было, – признался Саня. – Только и выспался, когда ты появилась.

– Да мне от икон твоих даже страшно! – вдруг призналась Катя. – Бандюги, бывало, не так душу выворачивали, как эти, – она запнулась и суеверно перекрестилась. – Лица...

Тогуленок давно уже превратился в маленькую деревню; в праздничные дни сюда приезжало человек двести. В электричке туристы делились таяжными вестями: в одном месте появилась новая бобровая плотина, кто-то поймал зайца в петлю, у кого-то избу обокрали, где-то ночевал бродяга, судя по вьевшемуся спертому запаху, в другой избе побывал какой-то проповедник, оставив на нарах листовки своей религии... А у Соловья появилась Катюха! Почему-то девушку сразу прозвали так: Катюха, подчеркивая этим ее приبلудность.

Неделю валил снег.

Катя ждала ясной погоды, предупредив, что уйдет сразу, как только кончатся метели. И Саня почти смирился с этим. Он даже уговорил девушку проводить ее, чтобы забрать свои валенки. Эти слова успокоили Катю.

Каждое утро Саня просыпался оттого, что в доме было светло. Он выглядывал в окно, ища солнечных отметин на заснеженных лапах. Но тайга была пасмурной, а это странное чувство светлой комнаты оставалось.

Свою комнатку Саня сделал в виде купе: четыре деревянные полки, застеленные тонкими одеялами, откидной столик под маленьким окном. Вместо двери ситцевая занавеска. Но Катя вскоре сняла ее, отстирала и сшила себе ночную рубаху.

– Ну, и ладно, – согласился Саня, – тепло от печки быстрее дойдет.

Он дремал теперь дольше обычного и сквозь сон слышал уютную возню у печи. Березовые дрова падали с волшебным звуком барабанов, предвещающих какое-то важное событие, а гулкий огонь оживал, будто сердце спящей красавицы. Ему чудилось утреннее солнце в розовой меховой шапочке, скрип снега под ногами Кати, пронзительная синева неба и накрахмаленный иней на ветках.

Саня просыпался, словно в гостях!

Это странное и праздничное чувство не покидало его все утро. Он и раньше думал, что человек в тайге только гость и должен вести себя соответственно: скромно и торжественно. Но теперь праздник у него был связан с Катей.

Однажды девушка нашла под нарами баян, который оставили ему туристы:

– Что он в сырости лежит? Испортишь!

– Боялся, что украдут. Это Сергей Иванович мне оставил.

Впервые она обрадовалась:

– А я с семи лет играю!

– Хорошее дело.

– Сама пошла, без мамы, – сказала она гордо, – и записалась в музыкальную школу!

Катя вспомнила тот день, когда записали ее в класс баяна! Она шла по улице и пела, не обращая внимания на прохожих. Потому что никто раньше так внимательно не слушал ее и не старался отыскать в ее детской душе музыкальный родничок!

Она накинула на круглое плечо потертую лямку, обняла баян руками, будто согревая его, и задумалась. Она словно превратилась в хрупкую девочку, сидящую на концертном стуле, упираясь острым подбородком в холодную планку баяна и чуть отталкиваясь носками белых туфель от пола.

– Детская восточная песенка про цыплят! – сказала Катя громко и запела: – Гип-гип, джу-джа-ляри!..

Там, где кнопки не выдавали нужный звук, она нетерпеливо хлопала пальцами по перламутровой планке:

– Гип-гип, джу-джа-ляри! Гип-гип, – Катя запнулась. – Короче, песня про то, как цыплята клюют зернышки!

Красные всполохи от печи плясали на бревенчатой стене, наполняя дом искрами детского праздника.

– А с десяти лет я на свадьбах играла! Нас с мамой приглашали...

Снег валил и валил, за окном был слышен его нескончаемый шорох. В такие вечера им казалось, что они оторваны от всех людей на сотню верст, а от прошлой жизни – на сотню лет.

– Когда же он кончится? – тоскливо смотрела гостя в окно. – Придется на лыжах идти!

12

Освещенные утренними лучами облака были белее снега, который казался серым, еще дремавшим меж заметенных пихт. От ветра или пролетевшей птицы снежинки слетали с ветвей с особой морозной сухостью.

Саня встал на лыжи и пошел за поваленными осинами, пока их окончательно не скрыло снегом.

Морозец был слабый.

Ноябрьское солнце только к полудню прорняло тайгу. Подтаявший на пихтах снег слегка парил, сочился каплями, а то и вовсе соскальзывал влажной плюхой вниз, заставляя качнуться освободившуюся ветку и вызывая тем беспокойство у мелких птах.

Желтый солнечный луч зацепился за лыжный след позади Сани и покатился вниз до замерзающей реки, превратившейся уже в темный ручей.

На белых склонах виднелись свежие заячьи следы. Вчерашняя лыжня была взбуровлена напрочь их ночными бегами.

Пройдя соседний лог, Саня почувствовал какую-то вялость. Лыжи утопали в рыхлом снегу, идти было трудно. Поднявшись еще немного по гриве, он совсем запыхался и решил вернуться. В тайге нельзя метаться или идти против воли. Если нет дороги в одну сторону, значит, нужно идти в обратную.

В это время дома Катя стирала белье, на печке в кастрюле грелась вода. Вдруг под окном заскрипел снег. С морозным грохотом упали чужие лыжи возле крыльца.

Слышно было пьяное сопение:

– Соловей, выходи!

– А, черт, крепление примерзло!..

Катя убрала с полки начатые иконы, оставив только Деву с медвежонком, и в дом ввалились два мужика. Видимо, туристы:

– А где хозяин?

– В тайге, – продолжала она шоркать в тазике.

– А ты что, прачка у него? – засмеялся краснолицый парень, его рыжие жесткие усы были облеплены мутными ледышками.

Это был Паша-Буча, в красной ветровке, с красным лицом и крупным мясистым носом. Однажды зимой он колол дрова и, сняв свою норковую шапку, разрубил ее на макушке. Спросили: зачем? Буча ответил: жарко!

Гости раскрыли свои рюкзаки, достали бутылку водки и колбасу. При этом они роняли носки, ложки и парафиновые свечки.

– Стаканы дашь? – спросил другой парень. На его бледно-желтом лице выступила испарина. Он обшарил Катю взглядом: и грудь, и бедра, и косу. Одна из туристок, ходившая с ним в походы, сказала, что он будто шмель, – от цветка к цветку, – обирает пыльцу надежд. Так и закрепилось за ним это прозвище – Шмель. К тому же и внешне он был похож: лобастый, большеголовый, с сильными волосатыми руками и тонкими цепкими пальцами.

– Своих-то нет? – спокойно поинтересовалась Катя.

– Пусть Соловей капли оближет! – насмешливо распорядился краснолицый Буча.

Они скинули куртки, оставшись в потных майках.

Катя поставила перед ними два стакана.

– А себе? – спросил Буча, слизывая катышки с усов.

– Я с незнакомыми не пью!

Буча сделал вид, что удивился, но лишь для того, чтобы проорать хриплым голосом:

– О как! Да нас вся тайга знает!.. Мы и Соловья помним, – он подрезал ладонью воздух ниже стола, – еще вот таким!

– Мы уже три избы спалили! – подтвердил Шмель, почти ласково, потом засмеялся. – Не бойся, твою не тронем!

Катя взяла тряпку:

– Погодите, я протру!

– Да ладно, нам не спать на нем, – медленно произнес Буча, доставая из кармана трубку.

13

Подходя к дому, Саня заметил отчаянный рывок дыма, будто он прочищал закопченное горло трубы. Возле крыльца стояли лыжи, валялись рюкзаки: темные пятна от пота уже подернулись инеем.

– Вот и хозяин! – приветствовал его Шмель.

Раньше он никогда не называл Соловья хозяином: ни уважительно, ни насмешливо. А Буча налил водки и протянул ему, будто эстафетную палочку:

– Такую кралю отхватил, Саня!

Катя улыбалась, но гостям была не рада. Она стояла возле них с какой-то странной покорностью.

– Смотри-ка, – Буча кивнул на березовые топорщица с изящным загибом. – Соловей даже вырезать стал фигуристее!

– Говорят, ты ее выменял? – спросил Шмель. – На медведицу свою: баш на баш!

– Соловей может, – подтвердил его друг. Он смотрел на Саню так, будто хотел сказать: дуракам везет.

Саня бочком прошел мимо них, повесил варежки над печкой, подобрал упавший со штанины снежный катышек и бросил в ведро. Катя смотрела на него, и ей хотелось, чтобы он перекрестился сейчас на свою икону.

– Изменился ты, Соловьюша! – похвалил Буча, шумно высасывая из трубки дым. – Похошел!

– А он линяет два раза в год! – засмеялся Шмель, глядя на девушку. – Посмотрим на него весной, если Катюха не сбежит! А, Катя? Останешься у него?

Обычно туристы не интересовались Саниной жизнью, но сегодня вели себя по-другому, и причиной тому была Катя. Это перед ней Буча лениво выгибал спинку:

– Хорошо, что медведица сейчас спит!

– Страшно было идти? – Катя поставила чайник на печь.

– Нет. Потому что теперь можно консервы оставлять в своей избушке!..

– А раньше?

– Летом спрятали на чердаке, пришли – банки разбросаны, а сгущенка съедена! Санина подружка нашла!

– Точно она?

– Она! Тут другое непонятно, – нарочито долго пожал Буча крепкими полными плечами, – как отличила тушенку от сгущенки? Ведь банки одинаковые и без оберток! Сгущенку съела, а тушенку не тронула!

От нетерпения Катя стряхнула капли воды с ладоней:

– Ну, как?

– Она номера знала на крышках! – сказал Буча так тихо, что если бы кто не расслышал и повторил вопрос, то обрушил бы на себя волну смеха. А так смеялись все поровну!..

– А вы приносите сгущенку к нам! – предложила вдруг Катя.

– Так Саня съест! – воскликнул Шмель.

– Нет, я не дам!

– Ну, точно! – будто невзначай, Шмель задел девушку рукой и даже пощупал ее плечо, – сменял одну медведиху на другую!

Отдохнув пару часов, туристы собрались идти дальше. Когда они уже встали на лыжи и надели рюкзаки, Катя окликнула Бучу:

– Зажигалку забыл, – и добавила, будто дразнила: – Золотую, с красным фонариком!

– Дарю!

– Вообще-то она моя! – подмигнул девушке Шмель. – А ему жена спички положила. Она у него заботливая!

– Ага, она положит! – рассердился вдруг Буча и даже с какой-то злостью посмотрел на Соловья. – Всегда стоит возле рюкзака и смотрит, будто я чего лишнего унесу!..

Катя спрятала зажигалку в кулаке:

– Приходите еще!..

– Жди, Катюха, придем!

Два огромных рюкзака скрылись на тропе. Шли ребята неровно, видно было, как вздрагивали кроны деревьев на их пути, обрушиваясь снежными комьями.

– Метель начинается, а они пьяные! – забеспокоилась Катя. – Еще потеряются!

Но Соловей только махнул рукой:

– Теряются те, кого ждут!..

Весь день Саня держал в памяти: «приходите еще», узнавая в голосе девушки те же самые нотки, когда окликнула она его на окраине Салагира. С какой-то мгновенной ясностью он ощутил прежнюю бездомность, что была в нем в тот осенний вечер. Будто то была окраина его жизни. И после он только возвращался к себе, открывая заново свою душу и свою веру.

– А зачем ты иконы скрыла?

– Не знаю, – пожала плечами. – Они не защищают тебя! – Катя пощелкала зажигалкой. – Даже хуже, могут тебе несчастье принести!..

Она не рвалась больше уйти, но, как чувствовал Саня, ждала случая по-другому устроить свою жизнь...

Прошел месяц.

Катя отмыла и выскребла коричневую накипь в чайнике и в кружках, вытряхнула пыль из одеял и матрасов, обтерла книги от сажи. Каждый вечер она умывалась при свече, стирала что-то и вешала сушиться в своей комнатке. При этом строго предупреждала: «Ко мне не входить!»

Однажды Саня признался ей, что все детство мечтал о пирожках с картошкой.

– А ты меня научишь петли ставить? – как бы взамен предложила Катя. Но была в ее голосе какая-то другая просьба.

– Зачем тебе?

– Хочу попробовать.

– Да я сам не умею, – признался Саня с досадой, будто речь шла о чем-то или ком-то другом. Была у него характерная черта: признаваясь в чем-то совсем пустяковом, он поневоле приоткрывал более сложную тайну своей натуры. Саня давно заметил, что Катя боится его. Особенно когда она ходит в баню и жалуется на то, что пол скрипит как-то странно, будто кто-то подкрадывается к ней. Умел он петли ставить! Знал, как подловить зайца: где он разгоняется с горы, когда бежит к воде. Но стыдился, будто это было нечестно.

На следующий день в кастрюле туго пузырилось опара, наполняя избу забористым квасным духом. Катя сыпала понемногу муку и перемешивала тесто, счищая его ножом с ладони. Вскоре тесто стало отходить от стенок, пыхтеть и оседать воронками, напоминающими лунные кратеры.

Затем она вынула тесто на растопыренных ладонях, слепила колобок и снова опустила его в кастрюлю, накрыв полотенцем:

– Ну, придет кто-нибудь!

Саня посторонился у печки, замороженно следя за тем, как она слила горячую воду и стала толочь картошку, посыпав ее сушеным луком и ботвой моркови.

– Почему знаешь?

– Так мама говорила: на запах!..

На раскаленной сковороде зашипели первые пирожки. При виде их Саня вспомнил, как в детдоме стряпала повариха, а пацаны напирали грудью на раздачу. (Пупырчатые красавцы раздувались и румянились.) Чтобы как-то заглушить вой в желудках, ребята для потехи сравнивали пирожки с рыжими майскими лягушками, что лежат на мели под солнцем.

– Ну, скоро?

Катя переворачивала пирожки; от жара лицо ее стало красным, а переносица покрылась испариной. Уткнувшись лбом в изгиб руки, она откидывала волосы:

– Наешься! Еще медведихе твоей останется!

– Машка придет, – успокоил Саня, – как весна настанет, так и явится. Она любопытная!

– Ну, я-то ждать не буду, – сказала Катя, сразу потеряв интерес к стряпне.

После обеда Саня выдавил краски на палитру. Запахло скипидаром.

– Здесь тоже весна? – вытирая руки, кивнула Катя на его новую работу.

– Нравится?

– Я люблю, когда есть облака или деревце какое-нибудь, – Катя вглядывалась в прозрачные березовые кроны, похожие на нимбы. – А под ним человечек!

– Все ждешь кого-то?

– Человек должен быть! – настойчиво произнесла она. – Я видела икону: старичок один по лесной дороге идет, борода беленькая, лес вокруг темный. Обычно иконы такие уютные, а он один-одинешенек! Будто заблудился...

Саня представил себе просеку в лесу, небо светлым клином над головой старца, а под ногами – тропа. В середине лета он сам срубал тесаком двухметровую траву. По этим тропинкам ходили потом лоси и туристы.

Икону писал он медленно. Словно дожидался, чтобы форма и цвет сами проступили на картоне. А вот наброски с Кати делал быстро.

Раскрыв блокнот, таежный художник ловил карандашом изгибы ее тела, ее рук, наклон головы. И особенно любил рисовать ее длинные волосы. Он торопился, пытаясь сохранить на бумаге ощущение покоя и радости этих зимних дней.

А среди туристов, которые теперь чаще навещали его, пошел слух, что Соловей сам не свой – постиранный и побритый! И многие были уверены, что Саня не сможет долго оставаться таким «не своим», что его натура непременно даст о себе знать.

Что за натура, никто толком понять не мог, но и не желал Соловью счастья.

14

Раньше Саня не любил вечера, особенно зимой, ощущая в себе долгую пустоту. Посмотришь за окно: уже темно и можно ложиться спать, но рано закончить день не отпускает душа, и взгляд не может оторваться от огарка свечи.

Теперь он вечеров не боялся.

Как звери делят тепло норы, так Саня с Катей делились меж собой добычей прошедшего дня.

– Не знаю, выдержит ли подпорка у бани? – рассуждал вслух Саня. – До весны. А то как выйдешь и упадешь под обрыв!..

До половодья было далеко, а значит, – понимала его расчет Катя, – надолго загадывал он их совместную жизнь!

– Что я, толстая такая? – подыгрывала ему девушка, чтоб не выдать своих истинных намерений.

– Нет. Бревно там сгнило. Каждый год собираюсь...

Из-за того что пол в углу комнаты был разобран, в избе стоял дух оттаявшей весенней земли. Катя прислушалась к шороху в досках:

– Сегодня колонок опять приходил, в окно заглядывал! – Она научилась у Сани говорить долго и обстоятельно.

– Любопытный такой: стал на задние лапки и крутит мордочкой! – Катя сомкнула пальцы щепотью и покрутила рукой. – Так хотелось ему пузико погладить!..

– Из его хвоста кисти делают, – художник посмотрел на полку, где из банки торчали кисточки.

– Потом вышла, вокруг дома ниточка его следов. Маленькие такие, с копеечку!..

– Завтра надо снег с крыши скидать, – наметил себе Саня.

А Катя вспомнила, что днем расчищала вокруг костровища:

– У нас лавка возле столика обгрызена! – она даже немного расстроилась, сомкнув полные губы.

– Это зайцы, – усмехнулся Саня, вспомнив разговор про петли, затем поправил пальцами прозрачный воск свечи. – Они даже в туалете пол грызут!..

– Что-то я замерзла, – Катя накинула куртку. – Подкину дров?

Девушка пила чай, рассматривая в кружке белые узелочки цветков лабазника:

– Летом пахнет! – подула в кружку и вспомнила: – Видела большие следы на берегу! Даже страшно стало!

– Рысь ходит по округе, – понял Саня. – Охотники на нее жалуются. Зайца съела в петле.

– А что ты собаку не заведешь?

– Медведь съест...

Катя залезла в спальник, жалуясь, что не может согреться:

– Ночью разбужу тебя, если замерзну, – крикнула она из своей комнатки. – Будешь печку топить!

Еще долго слышал Саня, как она ворочается и зябко постанывает. Одновременно и у него начинали зябнуть бока. Саня натягивал на себя одеяло, представляя, что укрывает девушку, и его тело занималось томительным жаром...

15

Однажды вечером к ним наведалься Михей: на лыжах, но все в тех же армейских ботинках, похожих на кувалды. Зашел в дом с собакой – молодой игривой лайкой:

– Пустите переночевать?

– Мы всех пускаем! – ответила Катя. При гостях она всегда заметно веселела.

Михей разрядил ружье и поставил его возле нар. Вынул из рюкзака конфеты и пряники, угощая Катю. За чаем он жаловался: дичи полно, от заячьих следов в глазах рябит, – «а нейдет ничего»!

– Капкан поставил на соболя – сойка попалась! Скажи кому, засмеют. Мол, певчих птиц стал ловить!

– Сойки любопытные, – кивнул Соловей.

– Какого ж рожна полезла?

– Они всеядные!

– Говорили мне, – сетовал Михай, достав четок водки из рюкзака, – если сойка тебя заметит, то охоты не будет!

– Видно, мясо учуяла.

– Учужала, зараза! Куда ни иду – и она за мной. Сядет на ветку и смотрит!..

Ему нравилось ругаться в доме Соловья, будто крепкие словечки рикошетом достанутся и хозяину, и его иконам. А может, испытывал Санино терпение.

Саня примостился в углу возле топки и смотрел на Михея через красные отблески от печки:

– Сойки всегда мешают охотникам! – сказал он так, будто сам бы хотел это сделать.

– То-то ты не ловишь ничего! – насмешливо бросила Катя. Ей не нравился уверенный тон Соловья: тоже, строит из себя бывалого охотника.

– Я сойку из капкана вытащил и к дереву прибил за крыло! – Михай налил себе в стакан водки. – Пусть, сволочь, трепыхается!

Затем он спохватился и спросил Катю:

– Выпьешь?

– Нет.

Михей крикнул одобрительно и махнул стакан:

– А недалеко от вас еще следы рыси видел! – захрустел он сушкой, роняя крошки. Собака кинулась их подбирать, цокая по полу когтями.

– Рядом ходит, – подтвердил Саня. – С котятками кружит, след в след идут.

– Да уж какие там котята, весной сами заведут семью! – Михай подвинул конфеты ближе к девушке. – Вы-то еще не сподобились?

Спросил он лукаво, но в голосе была другая надежда. Видимо, пожалел уже, что сосватал девушку за Соловья. Катя почувствовала его досаду, и это веселило ее:

– А сам чего бобылем живешь?

– А то и живу, что лучше тебя не нашел! – сказал он это больше с издевкой, мол, но тебя сватать все равно не буду.

Михей выпил. Обтер губы ладонью:

– Сыграешь на моей свадьбе?

– Уже играла!..

Охотник вынул из кармана пустую гильзу и свистнул в нее:

– Э, сколько лет-то прошло! – задумался и добавил: – Жизнь-то ухнул, только пыж отлетел!

Отец Михея был военным инженером, приехавшим в поселок укреплять тоннель. Здесь он сошелся с женщиной, матерью четверых детей. Через год у них родился мальчик Вася. А еще через три года вернулся с Севера ее блудный муж. Когда инженер закончил объект, женщина отдала сынишку: видимо, не нужен был лишний рот... Но каждое лето Вася приезжал к бабушке. Потом окончил военное училище, колесил по стране, как отец.

Собака уперлась передними лапами в колени хозяина, Михай толкнул ее:

– Конечно, огород одному не поднять!.. Да и дом оставлять надолго нельзя, сама знаешь!

Катя зажала конфету в зубах и склонилась над лайкой, заигрывая с ней. Собака прыгала и скулила, пытаясь лизнуть девушку в лицо.

– Сыграй мне! – попросил Михай и даже приосанился, тряхнув плечами, чувствовалась еще выправка. – Так вот и разминулись мы с тобой!..

Пятнадцать лет назад, перед свадьбой, лейтенант Василий Михеев привез невесту в Салагир к бабушке. А маленькая Катя играла на его смотринах... После демобилизации он оставил квартиру жене с дочерью и вернулся в родные места. Поселился в бабушкином доме.

Девушка принесла баян, сделав кислое лицо. Как ребенок, которого заставляют играть для гостей. Катю забавляли фантазии отставного майора, будто бы он помнил ее с детства.

Хотя она точно помнила тот день, потому что мама принесла с базара цыплят, Катенька рвала им травку и разучивала новую мелодию: «Гип-гип, джу-джа-ляри!»

Михей пододвинулся к ней ближе на лавке, шелестя пакетом с пряниками:

– Я за деревней в балке родник нашел – вода волшебная!.. Иди ко мне жить!

Катя смеялась и повторяла: «Гип-гип, джу-джа-ляри!»

– Буду тебе каждый день эту воду носить!

– Живую?

– С нее все оживет! Пойдешь? – упрямо пытал Михей, словно не замечая присутствия Соловья. – Иди, не пожалеешь!..

Смеясь, Катя нарочно смотрела на Саню, мол, так ему и надо. Что именно желала, она затруднилась бы сказать. Потому что не любила произносить красивые слова, например как «страдание» или «смирение».

– У меня другой на примете! – отрезала Катя. Она резко встала и отложила баян.

Саня тоже поднялся с лавки, зевнул и посмотрел на будильник:

– Быстро время прошло, спать пора...

Михей выпил остатки водки с чаем и заметил тоскливо:

– А жизнь вообще быстро проходит!

Он удивленно следил за тем, как Соловей укладывается в своем купе, а Катя поправляет спальный мешок в комнатке для туристов:

– А вы что, спите не вместе?..

Никто ему не ответил.

Когда он улегся на нары против Сани, скрипя досками и о чем-то вздыхая, Катя вышла на кухню со свечой. Она булькала в тазике растопыренными пальцами, словно воробей в луже. Охотник прислушивался к этим звукам, потом громко сказал:

– Ну, чисто в раю, Адам и Ева!

Катя окунула лицо в тазик. Слышны были падающие капли. Она вспомнила вдруг, как в детстве ее мыла мама, поливая горячей водой: «С гуся вода, с Кати худоба!» И в доме было тепло.

– А мне бы их жалко было! – отозвалась она.

– Кого? – ухватился Михей.

– Самых первых людей: Адама и Еву.

– А что так?

– У них детства не было! Мама за ручку не держала, и еще...

– А тебя держала! – перебил ее Михей с досадой. – Пьяная мать на свадьбы таскала!

В доме повисла неприятная тишина. Михей положил тяжелую голову на подушку:

– Я ведь помню! – произнес он неуверенно, как человек, который только начал еще разбираться в своей неуютной жизни.

А Сане жаль было Михея, выросшего без матери, и также Катю, жившую без отца. Он не знал своих родителей, но сиротой себя не считал, потому что чувствовал их присутствие где-то на земле. Каждый раз, получая шишки от жизни или делая глупости, он обращался с просьбой о помощи к родному человеку, который, как думалось мальчику, все видит и все знает о нем.

Ночью Михей жутко храпел. Беспокойно скулила лайка, то и дело запрыгивая к нему на нары. Михей просыпался, ругался и сгонял ее прочь:

– Боится чего-то, дура!

Под утро собака сделала лужу у двери; ее хотели выгнать наружу, но она не пошла – чуяла рысь!

Поднялся охотник рано, долго шарил что-то в потемках, кричал и жаловался на угар в доме да на жесткие нары.

Когда Саня вышел проводить его на крыльцо, Михей сказал ему, ехидно сочувствуя:

– Что, чужую блоху взял под свое крыло?..

После ухода гостя Саня растопил печку. Впервые он задумался о том, что у Кати была прошлая жизнь и остались какие-то связи с тем миром, из которого пришел Михей. А он-то воспринял ее, будто тополиный пух, неведомо откуда залетевший в тайгу!

Скрипнули узелки ткани на веревке: Саня сдвинул занавеску в Катину комнату, чувствуя, что даже от ситцевой ткани пахнет женщиной.

– Кто ты, зачем? – он смотрел в окно, поверх приподнявшейся головы девушки. – До сих пор не знаю!

На крутом склоне видна была петляющая лыжня, оставшаяся после охотника.

– Надо бы градусник повесить, – предложила Катя.

– Зачем?

– Легче будет весны дожждаться! – ласково зевнула.

А ведь и вправду хороша она! Кате нравилась сейчас Санина растерянность и любование ею. Она потягивалась в спальнике, будто молодая кошка.

16

В декабре по утрам солнце поднималось над тайгой, мутное и белесое.

Катя смотрела в оттаявшую лунку на окне, отмечая, как опухают от снега ближайшие склоны гор, как все ниже становится небо и уже не уходят в полдень из глубины распадка синие сумерки. Иногда ей казалось, что солнце вставало с разных сторон заснеженной поляны, будто оно вязло в больших сугробах и выбирало себе более легкий путь по продувному твердому насту.

Девушка набивала дровами печь под завязку и возвращалась к окну, рассеянно наблюдая за тем, как совсем короткие лучи солнца с сыпучим блеском проскакивали сквозь заметенные дебри, оставляя сказочные серебряные копытца на снегу.

В сильные морозы Саня нарубил березовых заготовок. (В это время в дереве наименьшее количество влаги.)

Каждый день он ходил за сушинами, проверял петли на рябчиков, подвязывая к рога-тинам пучки мороженой калины, а дома строгал, вываривал и гнул заготовки для лыж. А в его обычные, как хозяйственная веревка, дела, Катя вплетала свою цветную нить женской заботы. Даже то, как она умывалась, поставив перед зеркалом зажженную свечу, было удивительно. Вода стекала по ее смуглым рукам и обрывалась весенними каплями на бледно-розовых шишечках локтей. После мытья она тщательно и не спеша расчесывала русые волосы, выводя гребнем темные влажные ряды. Высыхая, волосы мягко распушались, но сохраняли изгибы и кольчатые пряди на концах. Саня ненароком заглядывал в зеркало, дивясь иконописному отражению, неподвластному его руке.

По утрам Катя варила кашу, подметала лапником пол, заваривала чай с пихтой и березовыми почками. И главное, – Соловей отметил это как приближение весны, – она все время ждала, поглядывая на тропинку в начале поляны. Это ожидание тоже было приятным.

Живя один, Саня обычно погружался зимой в тихую дрему. С появлением Кати он решил затеять в доме ремонт – перебрать пол в туристической комнате, где обосновалась девушка. Делал он все медленно: разрубал надвое осиновые бревна, потом строгал, кропил их и стелил, примеривая с разных концов. Катя не торопила его, но комнату не оставляла. Но особенно ей нравилось, когда Саня оставлял все дела и пытался рисовать.

Однажды девушка спросила:

– Зачем ты икону с медвежонком нарисовал?

– Для людей, – ответил Соловей.

Катя хотела возразить, мол, грех это, но по-женски угадывая, что ощущение греховности Саня связывает только с ней, тихо сказала:

- Пьют здесь перед ней...
- Ну, не все.
- Семь недель тут живу, – произнесла уже решительно, – вижу!
- Не надоело?
- Скучновато.
- Зимой туристы ко мне чаще ходят.
- Каждый на свой зуб пробует!..

17

Самыми тихими из туристов были студенты Сергея Ивановича. Летом они строили свою избу, а зимой ходили к Соловью. Пока студенты топили баню, Сергей Иванович разглядывал Санино творчество, поправив очки на резинке. (Он стал носить резинку с того случая, когда очки упали на морду медведице.)

Преподаватель философии усвоил в общении с Соловьем слегка упреждающий скрипучий тон, будто заранее знал все его странные выходки:

- Новую пишешь? – не захотел он произносить слова «икона».
- Не приглянулась?

Сергей Иванович нахмурился, собрав на лице тонкие скорбные морщинки:

– Я видел в музее икону: апостолы за столом Тайной вечери, с русскими окладистыми бородами и волосами, стриженными под горшок! – сказал он медленно, но внятно, желая произвести впечатление. – Все двенадцать!..

- Несчастливых жизнь далеко гонит! – ответил Соловей.
- Куда гонит? – удивился преподаватель с досадой, чувствуя, что сбился с мысли.
- А вон у нее спроси...

Катя сидела у окна и смотрела, как ворожит снег, раскладывая на зеленом сукне пихт свой узорчатый белый пасьянс.

Сергей Иванович посмотрел на девушку, но не нашелся что спросить, назвав мысленно Соловья юродивым.

В дом вошел студент и сообщил, что баня готова. Хотя Сергею Ивановичу хотелось выяснить темные мысли Сани сейчас, до бани:

- Что ты хотел этим сказать?

Соловей спокойно пояснил:

– Ну, представь, русские мужики привыкли пахать – широко за плугом ходить, или сеять – широко руками махать! А тут собрали их тесно, да еще думой придавили...

Сергей Иванович вздохнул, качая головой и рассматривая начатую работу:

- Кто это – в бабьем платке? Мария?
- Мария.

– Что она моет в реке, такое странное?

– Правильно, Мария, – еще раз подтвердил Саня. – Только это Мария Магдалина! Она скиталась по пустыням вместе с Иисусом. Ухаживала за ним, мыла посуду... Может, и чашу ту мыла!.. А была ли грешница? Так от незащитности... или оговорили ее...

От этих слов стало тесно сидеть на узкой лавке в маленькой кухоньке и как-то неудобно перед Катей. Они вышли на крыльцо. Сергей Иванович глубоко вдохнул холодного таежного воздуха:

- А что дальше?
- Она и подскажет, – наивно ответил Соловей. – От нее все пойдет, ею и закончится!

Сергей Иванович раздраженно оглядел Саню: был он каким-то непонятным, невозможным; даже возраст, по которому обычно смотрят, что удалось человеку сделать в жизни и на сколько лет у него остался запал, не поддавался обычному исчислению.

– Я о твоей жизни спрашиваю! Что дальше-то?

– Не знаю. Не задумываюсь об этом...

– Отстал ты здесь ото всех! – И подумав, добавил: – Ты пойми, взгляд с иконы – это когда тебя в душу пустили!

Но Соловей быстро подметил неуверенность в его голосе:

– Никто не пустит в душу, если не почувствует в тебе своего оберега!

– Какого оберега? – взвился голос философа. Студенты переглянулись, пригасив смешки. Подобным криком преподаватель будил спящих на лекции.

Соловей сделал вид, что его отвлекла пролетевшая синица или упавший с ветки снег: «Тихо будет, громко отзовется...»

«Юродивый!» – подумал Сергей Иванович и пошел в баню.

Осторожно спускаясь по ступенькам и чувствуя свою неуклюжесть, он почему-то вспомнил голубого медвежонка на руках Лесной Девы. Сейчас он боялся зацепиться за ивовые колышки, что держали доски. Но еще более не хотел зацепиться душой за какое-нибудь глупое пророчество, якобы спрятанное в этой «иконе».

В парной он немного успокоился, чувствуя, как размокает усталая душа. При свете туристических фонарей видно было груды сухих жарких камней, и они напоминали ему странным образом библейские утесы. Кипяток из ковша превратился на них в белое грозное облако, и преподаватель философии начинал хлестать себя веником, будто в наказание за что-то. Потом он бежал по скользким ступенькам к проруби. «Сюда, Сергей Иванович, – светил фонариком расторопный студент, – здесь ободраться можно о затонувший мостик!» Преподаватель слепо повиновался, словно парное облако выжгло его волю, а потом бросило его тело в прорубь, пронзив тысячу мелких благодатных стрел.

Вернувшись в парную, Сергей Иванович испытал такую теплую и влажную отраду, такой запаушный покой, какой бывает, наверно, у младенца в утробе. В который раз разглядывал он ровные бревна стен, похожие на сомкнутые пальцы ладони, с сухими продольными морщинками и бурыми смоляными мозолями сучков. Каменный утес урчал, в расщелинах меж булыжников шипели остатки воды. «Библейский гумус, – мелькнуло в голове у философа, – каждому человеку и роду исполнить свое предназначение».

После бани Сергей Иванович почувствовал, что для него становятся испытанием пещерный полумрак грязного жилища, толчея людей у маленького стола, подгоревшая каша, потерянный где-то чистый носок. И самое главное: баня не стала наивысшим блаженством этого вечера, после которого все остальное должно только медленно охлаждать душу.

Преподаватель молча пил чай, опуская книзу крючковатый нос и показывая, что не надо трогать его душевного спокойствия. Но Соловей подсел к нему на скамейку, как студент, вымаливающий «зачет»:

– Она любила мужчин, но не той любовью...

У печи сидела Катя, расчесывая влажные после бани волосы. Она обернулась к философу, смотря на него влажными глазами.

– Поэтому ты ее прачкой изобразил?

– Она грязь многих отстирала!

Сергей Иванович громыхнул пустой чашкой:

– Одно мне нравится, что баян мой здесь в заботливых руках! Катя, нальешь еще чаю?

Сергей Иванович давно уже устал от всяких споров и приезжал в тайгу ради тишины. «Зачем я заигрываю с ним?» – думал он, понимая, что этот разговор только усиливает его усталость. Но уже остановиться не мог: «А что я сделал?» – спрашивал он себя. Диссертация

остыла, нет открытия, нет огня! Получалось, что от Соловья он хотел того, чего не мог сам: какого-то отчаянного прорыва.

– Так жить нельзя! Ты не с Богом и не с людьми!

Саня хотел что-то возразить, но философ умоляюще прижал ладони к ушам, а в памяти всплыли слова какого-то мудреца: «Держи душу в аде и не отчаивайся!»

Ночь была ясная, но не морозная.

Катя спустилась к реке, скользя на ступеньках, еще больше обледеневших после голых распаренных ног.

Звезды заглядывали в прорубь через ее плечо. Тихо журчала вода, жалуясь на тесноту подо льдом.

Это в городе люди засыпают, чтобы отдохнуть от себя и других, в тайге каждая живая душа только дремлет, чтобы слышать все вокруг. И сейчас до Кати доносился бессонный всхлипы из палаты интерната, где лежала ее мать, и тревожный осиновый скрип в темноте.

Она зачерпнула ведро в черной воде: «Уйду! Как тепло станет, так и уйду!»

18

Прошла еще неделя, и Катя задумала стричься.

Она уселась на табурет в ночной рубашке, приладила на столе зеркало перед собой и ровняла ножницами челку.

Саня затопил баню, но радости в душе не было. Шел снег, осыпая мозги шуршащей тоской. Было зябко. Первое тепло от печи пахло глиной и сухим березовым листом. Он принес воды, чувствуя, как дрожит под его тяжестью пол предбанника: все сильнее проседала гнилая подпорка. Это еще более внесло неустойчивости в его настроение.

Катя держала зеркало на вытянутой руке и поворачивала головой.

– Поправь мне на спине! – протянула ему расческу и ножницы. – Только аккуратно!

– Как получится.

– Мне надо ровно! – сердито прикрикнула она.

Ревниво следя в зеркале, Катя направляла его движения:

– Начинай расчесывать от затылка!.. Мягче! Не дергай! Не дергай, я сказала!..

Будто в парандже, сидела она в распущенных по лицу, плечам и спине волосах. И Сане казалось, что в ее образе сейчас нет ничего лишнего.

– Зажимай меж пальцев и закручивай!

Саня зацепил расческой верхний слой волос и повел его волною вниз. Волосы влажно скрипели.

– Ровный две стороны, – приказывала Катя. – Чтобы они плавно сошлись на спине!

Но внутри у Сани что-то бунтовало: ему хотелось взбуровить ее волосы, так славно пахнувшие влажным сеном. Он прижался низом живота к ее спине и, смутившись, быстро отпрянул. Расческа застряла, обнажив край девичьего уха, похожего на рыжик в траве.

– Стриги вот на сколько, – Катя была занята своими мыслями и не заметила его смущения.

Она прислонила ладонь к волосам, показывая, на сколько нужно стричь, хотя Сане жалко было каждый сантиметр.

Ножницы кромсали толстые пряди, издавая безжалостный хрумкающий звук.

– На столько?

– Тупые! – поморщилась Катя. – Ровно делаешь? Не дергай! Как овцу стрижешь!

Она нагнулась к зеркалу, и Саня тоже склонился над ней: в разрезе ночной рубашки увидел смуглые озябшие груди и крестик меж ними.

– Я сказала: закручивай край от себя и стриги! А то получится как под горшок!

– Ты не замерзла?..

– Какие-то лохматушки! – возмущалась Катя, не слыша его заботу. – Неровно! Слева еще снимай! Ну-ка, покажи, сколько зацепил? Опять как попало!..

В сердцах Катя сама взлохматила волосы, разметав их во все стороны. Затем собрала обеими ладонями в одну косу, подняв ее над головой, как пучок Чиполлино. (На открывшейся шее вспыхнули розовые пятна.) Вытянутые руки поочередно перехватывали косу, закручивая ее так, будто они танцевали танго втроем.

Затем волосы вновь упали на плечи:

– Стриги!

Ножницы клацали, зубы Сани тоже мелко стучали, и он сжимал их, чтобы не выдать своего волнения. Временами он поглядывал в зеркало: лицо Кати замерло в каком-то ненасытном напряженном ожидании.

Ее рубашка была покрыта волосяной стружкой.

– Поправляй расческой и выравнивай!

Саня уже не слушал ее. Ему нравилась та затаенная покорность, с какой Катя сидела перед ним. И та чуткость, с какой девушка улавливала каждое его движение, осторожно поддаваясь ему. Волосы падали темными лохмотьями на белую рубашку. Саня невольно стряхнул их с бедра, ощутив сквозь тонкую ткань обжигающее тепло женского тела.

– Не надо, я сама!

Катя встала и взяла зеркало:

– Ну, хватит!

Она прошлась немного, поворачивая зеркало с разных сторон.

Потом залезла ладонью за пазуху, спешно вытряхивая лохматушки, а они падали все глубже, и Катя тихо стонала: «Ой, достали... до самой мамки!»

– Иди уж мойся, – отвернулся Саня, чувствуя, что не может больше совладать с собой.

В кастрюльке на печи закипела вода.

Катя схватила миску с клюквой и стала давить ягоду ложкой. При этом она поднимала одну ногу и чесалась ей об другую: «Как хрюшка! – она обдувала лицо, вытянув вперед нижнюю губу. – Уф-ф-ф!»

– Иди, а то прочешешься до дыр! – говорил Саня, потому как молчание его выходило слишком красноречивым.

– Сейчас! Только морс сделаю, – Катя наклонилась над кастрюлькой, сбрасывая выжатые ягоды.

Рубашка ее задралась на поясице, обнажив тыльные стороны колен. Саня успел разглядеть на них розовые жилки и холеные лепные выпуклости, как у гипсовых богинь.

Крикнула на бегу:

– Пять минут прокипит, снимешь и выльешь сок из миски! – Она схватила полотенце и мыльницу. – Я побежала!.. Сахар добавь! Принесешь мне в баню?

– Принесу...

Сама сказала! Дура. Сама позвала!.. Не дождавшись пяти минут, Саня сгреб кастрюльку голыми руками. «Пойду, – мелькнуло в голове, – или в прорубь спрыгну: там как раз по пояс, или подпорку у бани выбью!..»

Громко стуча валенками о косяк, Саня навалился плечом на дверь бани:

– Можно?

Откуда-то из влажной томительной тишины донеслось:

– погоди, я рубашку накинута...

Утопив кастрюльку в снег, он рванул обледеневшую ручку и вошел в предбанник, наполненный густым влажным паром.

– Ух, как наподдавала-то, из всех щелей валит! – сказал он еще громко, как бы не замечая ее.

Приглядевшись, Саня увидел, что дверь в парную приоткрыта: там потрескивала печь, и красный отсвет прыгал на полу. Спешно натягивая одной рукой узкую рубашу на влажные бедра, Катя держала свечу в другой, обжигаясь капающим парафином. Не обращая на Саню внимания, она опустилась на колени и заглянула куда-то в угол: «Крестик упал...» Саня тоже встал на четвереньки и пополз за ней. На полу валялись старые веники, из щелей пахло мыльным духом лука-слезуна. Он уткнулся головой во что-то мягкое, темечком в ягодицы, не давая волосам встать на дыбы; скользнул губами по голой ноге вниз к изгибам коленей... Заскрипела ткань бывшей занавески (давно уже в белом ситце чувствовал он эту скрытую женственность, особенно когда постанывали на веревке заторы мятых складок); упала и потухла свеча...

На следующее утро Катя бросила ему из своей комнатки:

– Крестик мне найди!

Саня пошел в баню.

Лег на мерзлые веники и замер, чтобы еще раз пережить случившееся вчера. Стыдно не было. Даже наоборот. Мысль о том, что Катя уйдет, была легка. Теперь хоть есть причина! Голова была тяжелой, душа унылой. «Пусть идет, – думал он, – жил один и дальше проживу! Беспокойно все это... Чужая она! С первого дня была чужой...» Теперь ему казалось смешно то, что он надеялся иметь семью...

Он нашел крестик, подержал его на ладони и вдруг почувствовал благодарность к женщине, которая отрезвила его. Саня опять растянулся на березовых ветках, как когда-то в детском шалаше – одинокий и никому не нужный, – выглядывая что-то среди пушистых узоров в зимнем окне.

Крестик отдал уже с обидой на себя.

Катя надела его и торжествующе сказала:

– А я думала, что ты верой своей предохраняешься...

19

К началу февраля снег завалил избу до середины окон. Третий раз за зиму Саня скидывал его с крыши.

С каждым утром над тайгой все больше чувствовалась предвесенняя испарина от крепнувшего солнца. Наметы из твердого снега склонялись над каменистыми обрывами и выкрашивались от теплого ветра серыми рыхлыми слоями. Рукава пихт, крепко прижатые снегом, начали чуть-чуть шевелить зелеными кончиками, будто сокрушались на дырки в рваных варежках. Осины и березы держали на своих ветках цепкие белые лохмотья, оставшиеся после метелей.

Казалось, что тайга еще спит, но будто уже вполглаза.

Снег был испещрен следами зверей и птиц.

Каждое утро Саня уходил в тайгу, словно ему не терпелось прочертить лыжню поперек заячьих следов. Он обходил свой путик: петли на рябчиков были привязаны в тонких ивовых рогатинах под пихтами, а на зайцев – возле приманки с солью.

Катя сидела дома и ждала.

Она не ушла... Первое время им даже неловко было встречаться взглядами. Катя смотрела с затаенным разочарованием, как бы говоря: «Я так и думала!» Но тем не менее он стал ближе ей, потому что понятнее, и даже родней. Хотя каким-то одним больным боком.

Для Сани исчезло чувство праздника по утрам. Они больше не радовались вместе самым простым вещам. Умывалась Катя обыденно, пирожки жарила с черной коркой, клюквенный мурс готовила не такой душистый.

И главное, они не загадывали вместе свое будущее.

Прошла неделя, и Саня почувствовал, – это было удивительно! – что с Катей они как-то по-новому сдружились. По крайней мере, в нем исчез въедливый пригляд за девушкой, пропала какая-то упрямая надобность держать душу начеку. Отношения их стали проще и внимательнее друг к другу.

К тому же с каждым днем все сильнее тянуло весною. В солнечный полдень тайга казалась почти оттаявшей, робко тянувшейся ветвями к небу и сетующей на то, что стволы деревьев еще крепко держат снежные оковы.

Однажды вечером в дверь избы постучался кто-то. Соловей крикнул:

– Заходи!

Но гость не торопился. Зашел после второго приглашения.

Он был небольшого роста, обросший темной бородою, на вид лет тридцати пяти. Одет не в рвань, но вид бродяги. Во взгляде что-то шальное, отчаянное. И главное – неприручаемое, как у старых бродячих псов. Снял шапку, глаза были умные и теплые:

– Пустите, люди добрые! – проговорил он с какой-то молитвенной неспешностью.

Саня усадил бродягу возле печки:

– Грейся. Давно ходишь?

– Местный я, охотник.

– Не похож, – усомнился. – А ружье где?

Саня никогда не считал себя бродягой и суеверно боялся этого края жизни.

– Ружье в милиции! А меня отпустили, так сказать, за прошлые заслуги. Предупредили только, чтобы ушел отсюда подальше. – Бродяга заскрипел мерзлыми подошвами ботинок, словно подтверждая свой долгий путь. – Вот пробираюсь сейчас на Кузбасс. Там у меня родня.

Под глазом у него была красная шишка, свежая и болючая, недавно, видимо, на ветку наскочил.

Гость, в свою очередь, с любопытством оглядел избу, будто дивился ее несурзности:

– А там еще комната?

– Хватит тебе места...

Бродяга потрогал рукой угол стены:

– Позже прирубил? – и посмотрел на Катю.

– Для туристов, – объяснил хозяин. В душе его шевельнулась какая-то неясная тревога.

На ночлег бродяга остался неохотно, мол, дойду до охотничьей избы. И глядя на его крепкую фигуру, верилось, что дойдет. Пришлось Кате уговаривать, бродяга оттаивал медленно. А Саня чувал: надолго прибился парень!

Истопили баню.

Гость отмылся, сразу посветлел, помолодел и ласково жмурился, как домашний кот. Одели во что смогли. Катя дала свою футболку, подаренную туристами.

Звали его Николаем. На хозяев он смотрел с наивным любопытством. Как, впрочем, и все другие гости, пытаясь отгадать, какие отношения связывают их с Катей.

За ужином бродяга рассказал, что родился недалеко отсюда, в маленькой таежной деревеньке, где все жители были охотниками. Из-за высокого горного хребта телевизоры в деревне ловили только звук, поэтому Коля с детства привык отгадывать за слепым экраном движения чужой жизни. Ложь и правду отличал, как звериные следы на снегу. В старых фильмах лгали «по-советски», но при этом артисты страдали отстраненно от своей роли; Коля чувствовал это по интонации голоса и в моменты долгих пауз. В современных фильмах ввали с радостью и азартом, будто героев взяли из нищеты, мол, сыграете богатых и счастливых – останетесь такими! Вот и рвали пуп от усердия. В старых фильмах ложь была по-человечески понятна и даже одолима каким-то другим образом, и на этом другом пути возникали иногда непредвиденные добрые поступки.

После армии Коля женился и переехал в поселок Салагир. Но не нашел себя, любви не получилось, вернее той, что представлялась ему за обманчивым темным экраном. Помыкавшись без дела, завербовался по контракту в армию. Служил в горячей точке.

Гость рассказывал и пил чай, не глядя на Катю, но чутьем охотника отслеживая вздохи жалости и удивления к своей мытарской судьбе:

– Горы похожи на наши, и народ тоже... Тосковали на вечерней молитве, как я по детям. Лежу в маскировке целый день и слушаю. Слушал-слушал, а потом рискнул! Стал им подражать. Тут, коль ошибешься, сразу пулями осадят. Но у меня получилось! – произнес гордо. – Из глубины так начнешь раскручивать, вытягивать эхом по склонам. И они мне отвечали, как своему!..

Он стал раскачиваться в такт глухому напеву. Отчаянный! – удивленно смотрела Катя. Женщины любят таких.

– Однажды лежу на проталине, – продолжал гость, – в листья зарылся, вокруг снег и луна – не пошевелиться. Жду, когда «броня» за мной придет. И вдруг слышу: идет кто-то...

– Почки там простудил? – спросил хозяин, ревниво улавливая, как напряглась Катя.

– На той земле... Ну, вижу, идет мальчик и огромная белая овчарка впереди. Я притаился, как рябчик: может, думаю, мимо пройдут. А они на меня – как по тропинке!

Бродяга вытянул вперед ладонь ребром, была она маленькая, но крепкая:

– Ну, прикидываю, если поднимусь сейчас, так их снайпер снимет! Вверх пальнуть, тоже себя обнаружить, одинокая пуля страшнее артралета... Уже перед самым носом вскочил и в тень! – Бывший снайпер пригнул голову по привычке. – Собака убежала, а мальчик стоит! Лет двенадцати. «Ты кого здесь ищешь?» – спрашиваю, присел и заслоняюсь им. «Корову, – говорит, – ищу!»

– Как у нас в деревне, – прошептала Катя, не отрывая глаз от гостя.

Николай ласково улыбнулся ей:

– Пацан стоит и, чувствую, дрожит! Тут я сына своего вспомнил. Может, думаю, ему сейчас так же какой-нибудь дядька в нос тычет! Показываю рукой в долину: «Там твоя корова! Иди...»

– Ты не сам встал, – торопливо произнес Саня, даже не зная, чем закончит свой внезапный порыв.

– Знаю, – охотно признался Коля. – Это Бог поставил на колени, как перед сыном!

– А дальше? – торопила Катя.

– Срок контракта закончился, вернулся домой, – продолжил бродяга. – А мне тут про жену рассказывают, иди, мол, к тому дому, сам увидишь! Смотрю: на стекле помадой сердечко, как метка. Я из ружья пальнул, любовь вдребезги!.. В милиции пожалели. Но из деревни выслали. Вот брожу теперь по зимовьям.

– А чем кормишься? – поинтересовался Саня, будто это могло быть единственной правдой, которая выдала бы гостя.

– Пику сделал из лыжной палки. Зайца быю...

Клейкие ресницы стрелка не могли скрыть жадный огонек молодых глаз, когда он поглядывал на Катю. Она переставила ближе свечу, проявляя несвойственную ей заботу, а может, хотела лучше разглядеть парня.

– А шапку свою нашел? – неожиданно спросил хозяин.

Гость виновато посмотрел на Саню:

– В одной избе взял. Бог простит! А хочешь, – он протянул руку к перекладине, где сушились вещи, – возьми...

Бродяга поднялся и старательно перекрестился на таежную икону, тень от его руки упала на лицо девушки.

– Я про другую шапку.

Саня узнал чернявого стрелка, что ползал по этой поляне, возле убитых медвежат. Бывший снайпер сделал вид, что не понял его, а может, и впрямь забыл:

– Много всего было... Можно еще чаю?

Он сам налил из чайника, осторожно пройдя мимо Кати, и все же задев ее плечом.

Стрелок опять оглядел сумеречную изнанку домика. От взгляда его не ускользнула жалкая ночная рубашка, висевшая в углу.

Свечу потушили, как всегда, рано.

Но спать никому не хотелось. Кате долго возилась в своей комнатке. Бродяга озирался в лунных потемках, заполнивших дом. В ушах его не стих еще шум метели и мерзлых пихт.

Первым неудобством от гостя стало то, что нельзя было справить малую нужду в ведро. С недавних пор Саня и Катя перестали стесняться друг друга и не выходили ночью на двор.

Саня лег на нары, вспоминая прошедший день, как он привык это делать перед сном. Ему необходимо было по вечерам какое-то оберегающее чувство, в то время, когда девушка раздевалась и умывалась. Он опять вспомнил про ночную рубашку: надо бы давно купить новую! Это его странная привязанность к вещам – кусок серой тряпки приобрел особую память.

Бродяга перевернулся на соседней полке и открыл глаза, как бы в полусне. Видимо, одним мгновением вспомнил он свой долгий путь по тайге и ночлег свой случайный. Он даже улыбнулся, жуя пустым ртом, будто оставил что-то приятное на утро. Переночует и пойдет дальше. Но вот что подумалось: уйдет он недалеко, до первой юбки! Потому что душа у него оседлая. Прислушиваясь к храпу гостя, Саня вдруг ощутил начало иного отсчета своей жизни. Он суеверно медлил признать себе, что у него-то по-прежнему – душа бродяжья!

Чего он хотел достичь в жизни? Обрести дом, это первое. Отыскать свою породу, это главное. И соединить все, что дорого ему: любовь к отцу, преданность к могиле медвежат, свое понимание таежной иконы...

Утром Коля перекрестился на Лесную Деву, нисколько не смущаясь голубой диковиной. И отошел на шаг, поклонившись и уступая место хозяину. Всем своим видом он показывал, что настроился на что-то долгое. Это чувство недосказанности оставалось все утро. Завтракали молча.

Потом мужчины ушли в тайгу за дровами.

Остался гость «на пару дней». Но прожил дольше.

С утра он уходил в тайгу, но возвращался к вечеру без добычи. Катя смеялась над ним, а бродяга складывал молитвенно руки, как будто оправдывался за свою неудачу. И еще, – чувствовал Саня, – извинялся за что-то другое. Голову снайпер держал низко и вздыхал страдальчески, но, уловив момент, стрелял по мягким женским мишеням и быстро прятал в карих глазах масляный оптический блик!

Все это время гость пытался разгадать отношения между хозяевами, как сюжет в слепом телевизоре. Однажды вечером он спросил Катю, разглядывая рисунок на картоне, где только угадывался еще женский силуэт:

– Это ты позировала?

– Я не натурщица, – отозвалась она с какой-то досадой.

– Ты бы и не вышла так... – произнес Коля, прищурившись и растягивая слова в задумчивости. Догадался бродяга, что давно хочет уйти Катя и только ждет до времени того, кто поможет ей в этом.

– Ишь ты, знаток! – засмеялась она и спросила вызывающе: – А как бы я вышла?

Уловил хитрый беглец желание ее «размалевать» душу, распотешить в дороге, выйти из границ чуждого ей сюжета. Саня встал и убрал картон:

– Я еще сам не знаю, что из этого выйдет!

С того дня стал гость осмотрительнее и даже предложил хозяину сделать сени у дома. Он напил столбы, но с размером не угадал и бросил. Мол, чтобы лучше обдумать! Не любил

Саня в людях такой характер: вроде бы хваткий и спорый, а все найдет какие-то препятствия, все думками спутает, любое дело заблукнет в его руках.

Одно хорошо получалось у парня – согласие с женским мнением. Никогда раньше Катя не встревала в строительные дела. А теперь держала столбец у крыльца и торопила стрелка:

– Руби быстрее, замерзла уже стоять!

– Подтесать еще надо, – топор скользил по мерзлой древесине. – Не то щель будет!

Каждая щепка, что падала из-под его топора, говорила, что одному ему ничего не надо, но если он полюбит женщину, то будет у него и хороший дом, и широкий двор!

Катя пританцовывала, но не от мороза. Она заряжала охотника нетерпением:

– Что будет, потом увидишь!

Словно уже знала, что выпадет им в будущем. Николай легко подчинялся, хватисто обнимая бревно.

Саня вставал на лыжи и шел в тайгу, чтобы остыть от своих ревнивых дум. А стрелок улавливал на лице девушки равнодушные: не интересовало ее, тепло ли оделся он? взял ли спички и нож в рюкзак?

В доме Коля по-прежнему держался гостем. Но при любом случае показывал, что места вокруг ему знакомы:

– Хорошее место нашел под избу! – хвалил он хозяина. И повторял притом, что местные охотники здесь зимовье хотели поставить задолго до него.

– Мы через эту поляну маралов загоняли! Молодые вверх бежали – в западню. А старые козлы уходили по тому выступу!

С его слов получалось, что не застолбил Саня еще это место. Когда же хозяин сказал про могилку медвежат, охотник вспомнил, что и сам здесь хоронил:

– Я тут трех собак потерял!

– Как это? – Катя подала ему тарелку с ужином.

– Двоих медведь задрал. А третьего самому пришлось застрелить.

– Зачем? – воскликнула она уже привычно, уже заранее готовясь его слушать. Потому как умел бродяга удивить женщину. Каждый рассказ он начинал, будто заранее извиняясь, что история эта произошла без участия Кати.

– Заболел каким-то подкожным клещом. Болезнь заразная, собаки стали гибнуть по деревне... Пошли мы с ним в последний раз на охоту, – Коля задумался, теребя бородку. – Поставил его напротив, кивнул в небо: смотри, мол! Он в стойку, я его влет!..

Катя всплеснула руками, жалея собаку, но еще больше – ее несчастного хозяина.

Пожинав, Коля неожиданно спросил девушку:

– А ты смогла бы поменять жизнь за одну минуту?

– Если из любопытства, – ответила Катя, немного подумав.

– Сбежать, что ли? – спросил Саня удивленно, будто застал в доме вора.

По тому, как гость отложил тарелку, как перебирал вещи в рюкзаке, видно было, что он решил скоро уходить. И эту задумку спрятал глубоко.

А затем весь вечер развлекал их охотничьими рассказами:

– Как медведь свои болезни лечит? (Слушая его вкрадчивый голос, желчь отчаяния разливалась в душе Сани.) Помню, до армии еще, шлялся по тайге. Вижу: медведь копает что-то и хрюкает тут же! Аж чавкает, так вкусно! Я шуганул его, подошел, желтый корень валяется, на вид как морковь. Любопытно стало, попробовал немного...

Коля откусил сухой пряник, слегка поморщился и продолжал:

– Как начало меня драть в желудке!.. На карачки упал, трясет, грызет изнутри! Чую, до избы не дойти. А потом уж и ползти не стало сил... Собака выручила. Сбегала в зимовье, привела охотников.

– Что это было? – спросила Катя почти равнодушно. Но и в этом безразличии виделось Сане только притворство. Она уже все продумала, все решила, в ее голове бродяга был жив-здор.

– Охотники и сказали потом, что этим корнем медведь паразитов выводит.

Катя засмеялась. И гость смотрел на девушку так, будто имел над нею уже какую-то власть. Он позволял ей смеяться, как своей. Чужой бы разрешил только сочувствовать.

А через неделю, когда Соловей был в тайге, ушел бродяга на станцию вместе с Катей. На полке, возле иконы с голубым медвежонком, беглянка оставила крестик. Тот самый, что теряла в бане...

Вечером Саня лежал на нарах, сжимая крестик в ладони, и глядел в окно.

Тревожными рывками гасли сумерки.

Временами ему казалось, что кто-то прошел мимо избы. Он всмотрелся в доски над головой, ища неизменный образ, и опять чувствовал крадущийся мерный шум: это кровь стучала в висках... Вот и поделили они, как будто поиграли «в развод»: ему достался нереальный образ любви на потолке и крестик. А ей?.. Где она сейчас? Ради чего сбежала?.. Саня не стал искать ответов, чувствуя досаду на себя. Ему было ясно, что тайные мечты, о которых они думали порознь, невозможны стали в их прежней жизни. Катя поняла это раньше и ушла первая, каким-то образом открыв и ему дорогу. Это немного успокоило его.

Ночью он спал тревожно, отвык уже от одиночества. Снилось что-то шумное, а проснулся – такая тишина, что хотелось выть. Саня прислонил к уху будильник и опять задремал под ровный стук железной стрелки...

Утром он нашел под нарами пакет, в котором были завернуты белые туфли. Спускаясь за водой, он сломил на тропе сухую ветку пихты, подумав привычно, что Катя может поцарапать лицо. И до самой весны берег возле дома на сугробе короткий след от ее лыж.

20

В марте возле бани вытаяли березовые листья. Скоро половодье унесет их вместе с его зимним наваждением.

На реке открылись стремнины; темная вода точила зеленоватый лед и подъедала зали-занные снежные берега.

Работа над иконой Магдалины шла туго.

Виной тому была Катя. Она незримо жила в его доме. И каждый день придирчиво смотрела на его творение. С какой-то мстительной решимостью она истерзывала первые робкие линии сюжета. Будто не хотела казаться тихой и покорной.

А поверх тайги уже летала весенняя бесприютная тоска!

Она парила, словно огромная птица, падая тенью на вербный покров речных берегов, на сервизный фарфор березовой чаши; она клевала солнечные пятна на рыхлом снегу и радостно взмывала в мягкую синь – ненасытная и прекрасная!

Тоска манила душу!..

В апреле тайгу охватил нескончаемый шум воды: изливались, плескались и пели на все лады тысячи ручейков, потоков и речушек, имеющих свой срок и свой запас снега.

Мутная вода в Тогуленке бурно шумела, обрушивая рыжие глинистые берега. На солнце сверкали просыхающие камни, белесый галечник на отмелях уже дышал сухим теплым илом. Зернистый песок вымывался из-под крупных камней, меж узловатых корневищ и серым игристым роем оседал на глинистом дне, смущая мелких рыбешек.

Зеленые побеги калужницы вылезали из хохлатых коричневых кочек, они радостно глядели по сторонам, выбирая себе ближний путь к воде.

Но если к шуму воды человеческое ухо еще может привыкнуть, то к пению птиц не дает привыкнуть душа.

Весною птицы и стонут и квохчут: то яростно, то тоскливо, то будто бы капризно. Вечерами бисерные трели соловьев густо рассыпались по склонам гор, будоражили холодные сумерки, уминая сырую таежную хмарь. И казалось, сколько ни слушай, а все гнетет душу какая-то невозможность подняться до проникновения в эти чарующие звуки.

Утрами просыпался Саня с легкой досадой на то, что соловьиная ночь прошла без него.

Вставал он все раньше и раньше. Все больше давая себе предрассветного времени, будто бы только в нем он мог обдумать что-то необходимое. И однажды увиделось ему на краю поляны, как в солнечных ладонях слепился из света и тумана знакомый силуэт. Как раз на месте могилки медвежат.

Несколько дней таскал Саня камни из реки, чтобы обложить ее фундаментом. Потом валил и носил бревна. Первые венцы сруба укладывал, стоя на коленях и чувствуя дрожь от холодной влажной земли.

Стены рубил бревнышко к бревнышку.

Бывало, неумоготу ныли спина и руки, тогда Саня ложился у костра и слушал птиц, давая передышку сердцу.

Ветви деревьев тихо вздрагивали, тайга плыла в половодье птичьего восторга.

– Еге-герь! Еге-герь! – одобрительно разливалось по поляне. Если соловьи подражают всему миру, то дрозды – человеку, заставляя трепетать в груди безголосую душу!

– Ти-тьен! Ти-тьен! – говорили дрозды, что он не один в этом лесу и в этом мире.

Прячась на вершинах деревьев, они кричали наперебой:

– Еге-герь! Еге-герь! – мол, видели егеря за перевалом!

Иногда Сане казалось, что пение дроздов – это неправильное, но очень старательное детское произношение забавных словечек, звуками которых ребяташки забавляются больше, чем их смыслом:

– Ти-тьен! Ти-тьен!

Саня вставал и шел к срубу.

Щепки летели в траву, сбивая белые робкие цветы ветреницы.

– Выи-тен! Выи-тен!

Топор не успевал за ударами сердца, пила опережала их.

Лишь подбивая колотушкой сухой мох, он попадал в птичий ритм, отчего дрозд-солист выводил над его головой торжественно, как будто фразу из оперы:

– Фигале! Фигале! Фигале!

Дрозды приучают человека к прилежности. Соловьи – к послушанию! От слова «слушать». Ведь у человека есть соблазн слышать то, что ему хочется. У птиц – выбора нет.

Пение птиц ближе всего к служению Богу.

Но без той тягости, которую люди окрестили духовной. Когда Саня слышал или читал о суровости монашеской жизни – он не то чтобы не верил, но понимал, что имеется в виду какой-то другой уровень. Может, та внешняя суровость жития и открывается только человеку непосвященному? А вот монашеское смирение вовсе выпадало из его сравнения с птичьим «разносолом»! Смирения нет в весеннем разливе, и получалось, что чувство это временное, как смирение птицы, летящей зимовать в чужие края.

В сумерках по краю поляны пролетела неясить, издавая звуки гундосой трубы; она уселась где-то поблизости, картаво рыча и лая по-собачьи. Другой филин разразился у реки каким-то невозможным косматым звуком: сочный кувырок свиста сглатывался в его горле с булькающим и урчащим хохотом; невидимая за ветками птица вытягивала шею и поднимала от удовольствия крылья.

Саня скатывался спиной по шершавым волнам бревен, топор падал из рук, срезая землю черным рубцом. Внутри стен что-то ласково отзывалось, напоминая утешающий душу колодезный всплеск.

В такие минуты он вспоминал о Кате. «Где теперь она, моя родная?» – сказал он и, подумав, засмеялся. Бывало раньше, что и злился на нее, и удивлялся своей привязанности. Но сейчас просто ждал от нее какой-нибудь весточки, простого напоминания: мол, дошла и устроилась на новом месте. Он чувствовал вину перед Катей. Оттого и ушла тайно. Хотя остались белые праздничные туфли. Новым ощущением стало то, что с Катей ушла его бестолочь, пропал его страх не совладать в задуманном деле.

В мае к нему пришла медведица.

Новый сруб ей не понравился.

Она драла новые стены и тоскливо рычала, как будто жаловалась на то, что отлежала в берлоге бока.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.